

я.л. А. Д. СЛАВА А. ТИМОНИН

АБАЗИНСКИЙ
ДЕЛИРИЙ
НЛМ



ЧЁРТ ОБРАЖНИЧЕСТВО
ПО-АБАЗИНСКИ

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Никита Тимонин

**Абазинский делирий, или
Чёртобразничество по-абазински**

«Автор»

2026

Тимонин Н. В.

Абазинский делирий, или Чёртобразничество по-абазински /
Н. В. Тимонин — «Автор», 2026

Это дорожное приключение, где каждый километр пути оборачивается чередой мистических происшествий и абсурдных случайностей. Главный герой — истинный наследник барона Мюнхгаузена: неумный фантазер, хвастливый рассказчик и хитрец, который с легкостью выдает желаемое за действительное. Путешествуя вместе с ним, вы узнаете в его спутниках своих коллег, соседей и знакомых — настолько точно автор схватывает их навязчивость и мелкие пороки. Через гротеск и смешные неурядицы книга обличает нелепость социальных ритуалов и бытовую глупость. Эта ироничная сатира для тех, кто ценит юмор с двойным дном. Сможете ли вы разглядеть истину раньше, чем наш герой?

© Тимонин Н. В., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Пролог	5
Глава 1. Побег из огорода, подальше от Кольки и Апрельки.	12
Глава 2. Когда время превращается в кисель	21
Глава 3. Надежда Сергеевна - фея билетов и королева вежливых подколов	31
Глава 4. Маршрутка Абаза–Абакан: хроники рейса с чемоданами, глухарем и похмельным героем.	36
Глава 5. Старт Мастера Расслабухи и Великий Автобусный Марш-Бросок	45
Глава 6. Вокзальная пытка. Великая багажная эпопея Лили Васильевны, или Гаврил-на-Колесиках. Эпос в двух актах с промежуточным алкогольным антрактом.	52
Глава 7. Пробуждение или где ночует дипломатический самогон	62
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Никита Тимонин, Ангелина Тимонина, Владислав Тимонин Абазинский делирий, или Чёртобразничество по-абазински

Пролог

Алкоголь — гениальный собеседник: который сначала делает тебя остроумным, потом — протагонистом различных приключений, а наутро превращает в философа-антагониста, который размышляет, стоит ли пить дальше.

Эту совершенно невыдуманную историю мне рассказал мой отец. Все имена и события в произведении не вымышлены, а любые совпадения с реальными людьми, живыми или мёртвыми случайны.

Давным-давно, когда только возникала первая идея создания магазина проката DVD Netflix, а сказки рассказывали вживую, — в три нуля тридцать пятом царстве, девяносто семь миллионных от государства, за семью перевалами, у истоков быстрой реки, там, где горы касаются неба, а степи тянутся до самой тайги, на картах скромно обозначенный точкой, а в алфавите городов занимающий первую строчку, стоит город. И стоит он так уже много лет: твердо, непоколебимо, с упрямством сибирского лося, ровно с того благословенного 1867 года, когда уральский купец Кольчугин — человек, видимо, настолько же предприимчивый, насколько и равнодушный к цивилизации, — основал здесь чугунолитейный и железоделательный заводы. С тех пор город и живет по принципу «тяжелая промышленность превыше геометрии»: дома его не столько строили, сколько устало прислоняли к сопкам, словно сам Господь Бог, будучи в легком восторге после сотворения Сибирской тайги, уронил сюда пару горстей строений и, прищурившись, махнул рукой: «А... пускай живут, раз упали». И они живут, органично дополняя тело рельефа — но не как ласковые конопушки, а как архитектурные одуванчики: каждый домик лепится к сопке так страстно, будто пытается её обнять и заодно избежать внеплановой командировки проверяющих из краевого центра. Крыши уезжают вниз, фундаменты лезут вверх, и вся эта архитектурная вакханалия цветёт двухквартирными домами с покосившимися заборами да резными наличниками, которые смотрят не на улицу, а неизвестно куда — предположительно, в вечность. Добавляют перчинки старые бараки, без которых ни один уважающий себя Сибирский городок не обходится уже который век, чья иеремиада слышна даже сквозь гул заводских цехов: они скрипят, оседают и пахнут мокрыми дровами, но стоят — назло всем архитекторам, законам физики и здравому смыслу. Город, одним словом, выжил, оброс гаражами, палисадниками с жёсткой сибирской сиренью и тропинками, которые местные жители протоптали там, где даже дикие козы сворачивают чтобы не понадобилось завешивание. И любим он именно за это: за то, что Господь его не спроектировал, а уронил — но уронил точно в самое сердце, где Абакан гнет свою спину, а люди пьют чай с брусникой и знают, что такое настоящая, не придуманная стойкость. И даже если вы попытаетесь найти этот город по линейке и транспортиру, он лишь хмыкнет, поправит покосившийся забор и продолжит стоять — с видом человека, который слышал про евроремонт, но принципиально предпочитает печку-буржуйку и разговор по душам.

Ну, а если вам еще и хоть раз в жизни довелось услышать тот восхитительный треск, с которым планы начальства по тотальной эксплуатации человеческого ресурса разбиваются вдребезги о раскалённый чугун, рассыпаясь мельчайшей чугунной дробью и издают при этом

звон, напоминающий удар церковного колокола по пустой каске прораба, — что ж, поздравляю: вы, несомненно, стояли у дверей кузницы моего отца. Это место было настолько сакральным, что руководство обходило его стороной с таким же ужасом, с каким кот обходит ветклинику после знакомства с градусником, — начальственные портфели и табели о рангах панически боялись кузнечной сажи. Зато простые люди валили туда с видом срочной необходимости, будто на пожар, где тушить собирались не огонь, а их собственный внезапный приступ трудового энтузиазма. Внутри этой кузницы законы физики, химии и трудового законодательства тихо сговаривались между собой, чтобы незаметно подменить «производственный подвиг» на «рабочую романтику», и к концу дня человек выходил оттуда совершенно счастливым — а иногда ещё и с парой «сувенирных» гаек в кармане, которые служили не столько доказательством борьбы с системой, сколько вещественным подтверждением того, что система сегодня боролась сама с собой.

Кузница была местом почти культовым, и одновременно служила социальным лифтом для тех, у кого в местном хозмаркете фамилия с пометкой в тетрадке «в долг не давать». Туда заходили самые разные люди: кто-то просил выковать деталь для трактора, кто-то — подкову для лошади, а кто-то — крючок для калитки. Но также кузница стала местом, где можно было с чистой совестью филонить от работы. Некоторые работяги Леспромхоза придумали гениальный план: они приходили к отцу, делали вид, что срочно нуждаются в какой-нибудь детали, и терпеливо ждали "очереди". При этом они с удовольствием наблюдали, как отец работает, и вели неторопливые беседы на темы, далёкие от кузнечного дела.

Мой отец много лет работал кузнецом в Леспромхозе — и был тем самым человеком, который мог с одинаковым успехом вернуть к жизни самолет и трактор Т-40, потерявшим все возможные эксплуатационные свойства еще при прежней власти, или сделать из куска рельсы такую хитрую запчасть, что инженеры из Москвы выпадали в осадок, узнав, что эта штукавина работает без единого чертежа, на одном лишь русском умении и интуиции. Кузница же, где ему приходилось творить эти чудеса, представляла собой помещение, которое следовало бы охранять как памятник индустриального дадаизма, если бы не одно досадное обстоятельство — работать там было сущим адом. Стены, закопченные до состояния негритянской ночи, пропитались гарью так глубоко, что даже свежий воздух, случайно залетев в дверь, тут же задыхался и вылетал обратно серым облаком. Однако артизанальный инструмент был вывешен по системе, которую явно разработал человек с инженерным складом ума и душой художника. Так что даже перфекционист расплылся бы в счастливой улыбке, по достоинству оценив экспозиции, выполненные словно по чертежу самого Леонардо да Винчи. Серпы соседствовали с шестернями от лунохода, а в углу, прикрытый промасленной фуфайкой, висел портрет Михаила Сергеевича Горбачёва. На лбу генсека красовалась копоть в форме знака «&», и никто не знал, откуда это пятно взялось, но все уважительно называли его «Символом Конверсии». Только вот самому кузнецу было не до символов — каждый вздох в этом царстве копоты и ржавчины напоминал попытку закурить в работающем доменном цехе, а уж когда горн раскалялся добела, казалось, что преисподняя решила взять выходной, но забыла закрыть за собой дверь.

Отец мой, Анатолий Захарович, или просто Захарыч для своих и Кузнец для прочих, был мужчиной той породы, которая встречается реже мамонтов в начале голоцена, но еще активно обитает в Сибири в заповедных местах вроде кузниц и гаражных кооперативов. Крепкий, будто собранный из тех же рельсов, что он ковал, лысоватый, с округлым лицом и доброжелательной харизмой Леонова Е.П. Он производил впечатление человека, способного голыми руками завязать арматуру бантиком, а потом двумя пальцами, с хирургической точностью фокусника, выудить уголек из горна, чтобы мужики прикурили — не закоптившись. Конструктивная особенность 1949 года — щербинка между зубами — перекатывала матерные междометия с гра-

цией кувыркающегося медведя одновременно придавая его улыбке неповторимый шарм человека, который может и гвоздь вытащить, и развеселить.

В Леспромхозе, где даже мухи с грустными мордами летали по расписанию, существовало всего два легальных способа поднять себе настроение: получка, которая делала жизнь сносной, и свежий анекдот Гаврил Захаровича, который делал её прекрасной. При этом главным зрителем и единственным критиком номера неизменно выступал сам Гаврил Захарович — он закатывался раньше, чем доходила суть, и ржал так, будто только что услышал лучшую шутку вселенной из своих же уст. А поскольку заразительный смех этого человека действовал почище испанки, уже через минуту хохотал весь завод, включая местного бухгалтера, который так и не понял, над чем, собственно, смеётся, — но за компанию. Так работала цепная реакция леспромхозной кузницы: без обогащения урана, зато с гарантированным взрывом дофамина и диафрагмы.

Гаврил Захарович был родным братом отца, моим дядькой, но в масштабах нашего населенного пункта на берегу реки Абакан он занимал должность куда более высокую, чем просто родственник. Он был совестью города. Точнее, ее отсутствием. Он был живым укором трезвому образу жизни и ходячим доказательством того, что если бросить пить, то организм начнет мстить тебе самыми изощренными способами. Например, потребует ходить на работу в носках. Или, не дай бог, заставит задуматься о смысле бытия.

Но я забегаю вперед. В тот день, с которого, пожалуй, стоит начать эту совершенно не выдуманную историю, в кузнице стоял привычный рабочий гул. Гул этот состоял из трех компонентов: шипения раскаленного железа, опускаемого в масло - звук, похожий на вздох разочарованного тестя, лязга молота - звук, похожий на падение рубля относительно доллара и бесед местных пролетариев. В кузнице было как в чреве кита: жарко, душно и местами уютно. Горн дышал ровно, пахло каленым железом и угольной гарью.

Дверь с грохотом открылась, впуская облако ледяного пара, в котором, словно античный бог в потертом ватнике, материализовался Евгений Павлович. Одевался Павлович всегда так, будто собирался не в леспромхоз, а на подпольное заседание политбюро в бомбоубежище. Ватник на нем сидел мешком, набитым надеждами на светлое будущее, которое так и не наступило. Карман на груди был оторван — по легенде, его в неравном бою порвал медведь, охраняя кусок колбасы, но по факту там просто прогнила нитка. Штаны были перемазаны краской такого спектра, который бы заинтересовал спектрографистов: левая штанина синяя, правая — зеленая. На ногах — калоши поверх сапог, сияли так, будто их начистили ваксой в генштабе НАТО, которые при этом с каждым шагом издавали звук, напоминающий поцелуй сильно пьяного человека с тарелкой холодца.

Лицо Евгения Павловича являло собой смесь шарпея с глубокой печалью и легкого похмельного недоумения. Недельная щетина топорщилась так, будто ее пытались причесать против шерсти сапожной щеткой. Волосы на голове, седые и жесткие, напоминали пережаренное сало, застрявшее в телеграфных проводах. В руках он мят кепку с таким усердием, словно пытался добыть из нее кролика, но вместо кролика из нее сыпалась только труха солянки и печаль о несбывшихся надеждах заглядывать в пустой холодильник, надеясь найти там икру из «Светлого будущего».

— Захарыч, — начал он, запыхавшись будто за ним гнался агент из местного отделения «МММ-Инвест» и нервно поглядывая на человека, которого заметил в углу кузницы чье лицо никак не выходило разглядеть после яркого уличного света. — Скоба нужна... Позарез. Я людям пообещал.

Отец даже не обернулся. Он аккуратно, двумя точными ударами, выравнивал какую-то ось. Удар молота — звон. Второй удар — гул. В этой какофонии он услышал все, что ему было нужно.

— Для чего, Женя? — спросил отец, кладя молот на наковальню и вытирая лоб рукавом робы, который когда-то был просто кожаным, а теперь напоминал геологический срез эпохи палеозоя.

— Женя, у тебя за душой из хозяйства только кроличья шапка, да табуретка на трех ножках. Что ты кому наобещал, опять? Может, тебе сразу капкан на медведя выковать, пока фантазия разыгралась?

Евгений Павлович выдержал драматическую паузу — будто готовился не фразу сказать, а лично подписать указ «О досрочном завершении эпохи филантропов». Снова уставился в самый дальний, подозрительно тёмный угол кузницы, где чьи-то глаза тускло поблёскивали, словно две забытые копейки. Из-за контраста света понять, кто там сидит — то ли сосед по гаражу, то ли его совесть, — было решительно невозможно. Затем он торжественно перевёл взгляд на отца и выдал сакральную фразу, достойную того, чтобы её не просто выбили на мраморной плите у проходной Леспромхоза, а ещё и стихи на заборе добавили:

— Для того, чтобы держать мир в равновесии! А то несправедливо как-то: вторую неделю из отпуска вышел, а ничего полезного с работы домой не притащил. Я, между прочим, свой ваучер в Леспромхоз вложил! Я теперь акционер! Так и до коллапса недалеко — мир перекосит в сторону жгучей несправедливости. Ощущаю себя так, как будто меня каждый вечер цыгане на вокзале обувают и ещё на сдачу обзывают. Диссонанс в душе размером с проходной балл в МГУ. Вселенская несправедливость. Я вчера на собрании акционеров был. Ну, как на собрании... У ларька стояли, решали, кто крайний. А сосед по гаражу, тоже, между прочим, вложивший свой ваучер в наше светлое будущее, мне и заявляет: «Я первый, мне ещё прибуду на ворота придумать надо». И тут меня осенило, Захарыч! Я сразу о тебе подумал. Потому что у тебя точно заваялось что-то, на прибуду похожее. И я соседу сегодня принести пообещал. Понимаешь, мир может треснуть прямо по экватору, если я ему хоть какую-то полезную хреновину с работы не принесу. А так — все при деле: сосед счастлив, я хороший, ты — кладёшь мудрости и железа. В общем, скоба нужна. Железная. Надёжная. Как я её на гараж соседу повешу — сразу морально легче станет. Вроде и ты при деле, и ворота держатся, и я соседу пообещал, да и совесть спит спокойно, обманутая очередной благородной целью.

Отец, в фартуке, больше похожем на кожу питона, проглотившего трактор, рассмеялся:

— Ты, Палыч, классик жанра. «На работе ты не гость, захвати с собой хоть гвоздь». Ладно, выкуем тебе скобу для душевного равновесия и хозяйственных нужд, будет тебе скоба. Универсальная. Подойдет и калитку подпереть, и совесть успокоить. Но смотри мне. И своим акционерам передай: если ты эту скобу по пьяни потеряешь и мировое равновесие опять нарушится, следующую я выкую уже из твоих саней. Вместе с полосьями.

В углу словно древнее ископаемое, потревоженное взрывными работами в карьере, высунул голову из своего убежища Гаврил Захарович. Выглядел он сейчас как человек, который только что украл медный кабель с трансформаторной будки, но успел обменять его на томик Шопенгауэра и банку кильки в томате. Босые ноги, где пол был вечно в окалине, — стояли на ледяном бетоне с таким видом, будто под ними была перина. Усы, густые и желтоватые от курева, топорщились в стороны, придавая ему сходство с уставшим, но очень хитрым моржом. От него исходил легкий аромат одеколона «Саша», который в эпоху тотального дефицита был валютой тверже доллара, и ностальгии по трояку, на который можно было взять «Московской» и еще на закусь оставалось.

Его голова была увенчана роскошными, русыми кудрями, которые торчали во все стороны, будто их обладатель всю ночь пытался починить проводку в розетке методом научного тыка - вилкой. Усы его, напоминающие по форме и размеру небольшого вомбата.

— Ты, Палыч, со своим ваучером как тот медведь в малиннике, — раздался хриловатый, но удивительно жизнерадостный голос. — И ягод не собрал, и кусты помял, а главное — людей насмешил.

Евгений Павлович вздрогнул и вгляделся в темноту. Там, на перевернутом ящике из-под динамита для шахты, сидел Гаврила Захарович.

Если бы существовала академия прогулов, Гаврила Захарович был бы ее ректором, деканом и почетным сторожем по совместительству. Бывший главный механик Леспромхоза, человек, чья карьера рухнула не из-за некомпетентности, а из-за излишней демократичности. Легенда гласила, что он распивал на боевом посту чистый спирт с подчиненными слесарями, и когда нагрянула комиссия, Гаврила Захарович, будучи в состоянии глубокой задумчивости, пытался починить комиссионные часы «Полет» молотком и какой-то матерной присказкой. После этого его перевели из начальников в рядовые слесари, о чем он ни разу в жизни не пожалел. «Ответственности меньше, а алкоголя столько же», — говаривал он.

Присутствие Гаврилы в любом помещении автоматически снижало уровень пафоса до нуля, а уровень абсурда взвинчивало до небес.

В руках у него был журнал «Rider's Digest». Про успех, мотивацию, с анекдотами про ковбоев и глянцевыми страницами, на которых красовался заголовок: «Как вырастить арбуз в условиях вечной мерзлоты». Журнал этот служил Гавриле Захаровичу чем-то вроде скатерти-самобранки. Текст убеждал читателя, что тот уже стал потенциальным обладателем приличной суммы — миллиард-миллионов рублей, квартиры, новенького автомобиля и лошади. Рядом сиротливо, но ярко лежали конверты с обещаниями баснословных выигрышей в случае «абсолютно правильного» выбора и покупки подписки на сто лет вперед. Для удобства прилагалось оформить два конвертика и кредит: один — с марками и с ответом «ДА, я хочу стать миллиардером и подписаться на кредит», выделенным жизнеутверждающим зеленым, а второй — с ответом «НЕТ, я обсосанный чмырдай и в подписки не нуждаюсь», выделенным красным. Второй конверт, к слову сказать, был без марок, без адреса и вообще выглядел как чистое редакторское убеждение. Прямо на конверте с надписью «Да» уютно разместился аппетитный шмат сала с чесночными прожилками. А на конверте с надписью «НЕТ» — контейнер из-под маргарина «Рама», который теперь использовался как пепельница для окурков «Прима».

— Это все происки империалистов. Они надеются, что мы, простые сибирские мужики, клюнем на их вот эти вот бумажки и перестанем ковать счастье своими руками. А я им фигу с маслом! Я не за миллиардами гоняюсь. Я за идею. Мне просто нравится сам процесс заполнения анкеты. Там, знаешь, в графе «Увлечения» я написал: «Чтение на завалинке и моральное разложение коллектива».

Он тут же, в лучших традициях кузницы, извлек из кармана газету «Правда» за 1987 год, насыпал туда самосаду, перемешанного с чаем для аромата и экономии и скрутил конструкцию, именуемую в народе «козьей ножкой» — шедевр инженерной мысли, который дымил, как паровоз, и вонял, как паленая портянка.

Отец, не глядя, подцепил огромными клещами уголек из горна, красный, с синими прожилками огня, и протянул Гаврилу. Тот, прищурившись от жара, прикурил свою вонючую сигару и блаженно затянулся.

— Конверты свои не подожги, тут все в масле. А то вместо скобы придётся новый Леспромхоз ковать.

Вонючий дым клубами поплыл к потолку, обжимаясь с паром и гарью. Атмосфера приобрела шарм подпольной организации, подходящей для откровений и для грандиозной подколки.

— Жень, — голос Гаврил Захаровича был похож на едкий звук, с которым гвоздь царапает шифер. — А, что за сосед по гаражу? У тебя ж гаража нет. Ты же его еще в прошлом году на дрова в баню пустил, когда замерз, как ксолоитцкуинтли в Сибирской тайге под Новый год.

— Баня — это святое! — обиделся Евгений Павлович. — А гараж... Гараж — это предразсудки буржуазного общества. Я человек открытый. Пусть все видят, как я красиво живу.

— Какую именно они должны увидеть красоту? — поинтересовался Гаврил Захарович, разгоняя облако дыма и докуривая «козью ножку» до такого состояния, что она становилась опаснее противотанковой мины. — Дыру в шифере размером с Чернобыльскую АЭС и козу Маньку, жрущую твою же герань? Красота, конечно, неопиcуемая.

Гаврил Захарович вздохнул так глубоко и скорбно, что в кузнице на секунду стало тихо, как в библиотеке имени Ленина.

Евгений Павлович повернул голову, сфокусировал взгляд на Гаврил Захаровиче, который в этот момент пытался пальцем ноги поддеть закатившийся под ящик конверт «ДА», и ухмыльнулся. Ухмылка у него была та еще — будто оскал хорька, залезшего в курятник, и вдруг метнул в Гаврил Захаровича словесную «гранату»:

— Э-э-эх, Гаврил Захарович! Погляжу я на тебя, и сердце кровью обливается. Такого человека загубил...

— Какого это я загубил? — Гаврил Захарович округлил глаза, будто поймал себя на краже космического корабля.

— А вот это ты нам скажи, только честно, как перед богом и участковым Малинкиным: ты ж раньше-то человеком был. Вон, механиком, считай, в Леспромхозе заправлял. Кулаком по столу — мужики в струнку. Водку пил с таким размахом, что Госплан завидовал. А сейчас что? Пить бросил! И что мы видим? Мы видим трагедию! Организм в шоке! Печень твоя, Гаврила Захарыч, она ж рыдает теперь, как студентка пединститута на лекции по сопромату! Раньше хоть алкоголем баловался, а теперь с босыми ногами в кузнице от безделья скучаешь! Весь твой потенциал, вся твоя харизма — они ж в адекватности растворялись! А сейчас ты чистый, как слеза комсомолки, и такой же бесполезный для мирового баланса! Ты раньше с босыми ногами по снегу бегал в поисках приключений, а сейчас сидишь на ящике и философствуешь под кефир. Это ж деградация!

Гаврила Захарович слушал эту тираду с выражением лица человека, которому сообщили, что он выиграл в лотерею «Запорожец», но автомобиль придется везти с Чукотки на собачьих упряжках. Смесь изумления, возмущения и искры безумного веселья. Он было уже попытался что-то возразить, но Евгения Павловича уже запряг свою лошадь и понесся в галоп по кочкам нелепостей.

— Раньше-то, как было?! — Евгений Павлович вскочил с чурбака и начал расхаживать по кузнице, размахивая руками как дирижерской палочкой. — Раньше твоя печень, как Завод имени Лихачёва! Гудит, дымит, перерабатывает сырьё! Спирт туда — энтузиазм оттуда! Ты ж был как ГКЧП в миниатюре — весь такой в броне и с бунтом внутри. А теперь что? Тишь да гладь, да кефирная благодать. Печень твоя простаивает без сырья! Она, поди, уже усохла до размеров грецкого ореха и пишет письма на завод в Темрюк с просьбой прислать ей хотя бы пузырек для протирки.

— Аналитик хренов, — голос Гаврилы Захаровича стал вкрадчивым и тихим, что не предвещало ничего хорошего. — Скобу у Тольки выпросил?

— Ну, выпросил, — насторожился Евгений Павлович.

— Так вот, я тебе обещаю, — Гаврила Захарович широко улыбнулся, и его усы встали торчком.

— В следующий раз я лично попрошу Анатолия, чтобы он тебе, злому гению юмора, не скобу дал, а прямо в карман штанов тебе уголек засунул. Вот тогда и посмотрим, как быстро твоя дырявая память родит шутку про то, чья печень плачет. Я посмотрю, как ты запляшешь танец маленьких лебедей, когда у тебя в портках начнется термоядерная реакция.

Евгений Павлович на мгновение представил эту картину и машинально прикрыл ширинку рукой. Гаврил Захарович заржал, да так, что с потолка посыпалась сажа. Отец, всё это время молча раздувавший меха горна, гулко расхохотался, и эхо его баса заметалось под сводами кузницы, как пойманный голубь.

— Ладно, Палыч, сдавай назад, пока цел, — прогудел отец, вытаскивая из горна раскаленную докрасна заготовку для палычовой скобы. — С Гаврилой спорить — что против лома с перочинным ножиком идти. Он тебе сейчас такую историю расскажет, как он пить бросил, что ты сам в монастырь уйдешь, грехи замаливать.

Гаврил Захарович покосился на Евгения Павловича взглядом, которым удав смотрит на кролика, подавившегося морковкой. Он медленно, с достоинством римского сенатора, которому подали не тот сорт винограда, сунул ему в руку окурок «козьей ножки» и потянулся к журналу «Rider's Digest», подтер им грязь с босых ног, и только потом ответил.

— Женя, ты когда-нибудь видел, как унитаз работает? — спросил он тоном профессора кафедры гидравлики.

Мужики переглянулись. Такого поворота никто не ожидал. Даже молот в руке отца замер в воздухе.

— Ну... видел, — осторожно ответил Евгений Павлович, чувствуя подвох. — Вода туда, вода сюда. Ничего особенного.

— Вот! — Гаврил Захарович поднял вверх указательный палец, который из-за въевшейся копоти напоминал обгорелую спичку. — Ничего особенного. А я тебе, как бывший механик с двадцатилетним стажем и будущий лауреат премии «Золотая прокладка», скажу: унитаз — это зеркало души человеческой. Когда ты пьешь, Женя, твоя жизнь — это вода в бачке. Бухает, шумит, плещется, грозит затопить соседей снизу, но всегда есть рычаг, который можно дернуть, и всё утихнет.

В кузнице повисла пауза. Евгений Павлович даже выронил окурок «козьей ножки» прямо в лужу машинного масла, где тот зашипел, словно соглашаясь с глубиной мысли.

— Это, ты Гаврил Захарыч, сильно загнул, — выдохнул Евгений Павлович, уважительно качая головой. — Это прямо как у классиков... у которых фамилия обычно на «-ский» заканчивается. У тебя талант пропадает. Тебе бы книжки писать, а ты сало на конверты кладешь.

— А смысл? — пожал плечами Гаврил Захарович, снова укладываясь на ящик из-под динамита.

— Книжки пишут для того, чтобы их потом в туалете читали. А я предпочитаю сразу переходить к сути процесса, минуя стадию бумаги. Так экологичнее. Садись... Расскажу, как дело было.

Глава 1. Побег из огорода, подальше от Кольки и Апрельки.

Каждую весну Абаза выходит из анабиоза не как обычный человек, а как биологический робот с прошивкой, не обновлявшейся со времён Столыпинской реформы. И в Гавриле Захаровиче непременно просыпается тот самый древний синдром — дачника с примесью партизана. Первый взгляд за окно упирается не в солнце, а в чёрный, спекшийся прямоугольник земли, напоминавший корку пригоревшего хлеба, переборщившего с температурным режимом. Никакой лаванды там, разумеется, не росло, но в голове хозяина уже цвели сады Семирамиды. Первые тёплые выходные были священным временем психоза. Ещё не разогнув позвоночник после посадки обязательной картошки, огородник уже рисовал картины: «Вот здесь пойдёт редкий сорт томата Бабушкин позор, плодоносящий ровно одним плодом, но размером с голову племенного бычка. Соседка лопнет от разрыва желчного пузыря, когда увидит эту генетическую аномалию».

Однако ирония заключалась в том, что соседка в этот же час стояла в идентичной позе зародыша над своей грядкой и думала ровно то же самое. В руках она сжимала пакетик семян, купленный у бабки на центральном рынке, с надписью «Возможно огурцы. Ну или внук что-то по осени насобирает». Обе стороны конфликта уже вступили в необъявленную гонку огородных вооружений. Дошло до того, что Гаврил Захарович тайком вымерял шагами расстояние до забора соседки — не украла ли она полсантиметра его чернозёма? Чернозёма, надо сказать, там отродясь не было, одна слежавшаяся пыль с примесью гравия, но принцип!

Первые две недели огород представлял собой филиал небесного блаженства. Хруст лопаты о дёрн, запах сырой земли и навоза — всё это вдыхалось с чувством, будто это миро-точивая икона. Гаврил Захарович даже начал читать статьи про пермакультуру и чуть не купил книгу «Огород без напряжения», но потом вспомнил, что в Сибири любая культура заканчивается там, где начинается настоящий гнус. И точно: стоило июньскому солнцу подняться чуть повыше, как из тайги выдвигалась Орда. Гнус. Мошкара. Туча крылатых иголок, чьей единственной эволюционной целью было добраться до печени огородника, минуя кожу. И тогда сибиряк, ещё неделю назад читавший статьи про французский Прованс, выходил на прополку в экипировке ликвидатора. Противогаз, куртка на рыбьем меху, штанины, замотанные тряпичной подвязкой. Стоя на четвереньках в морковной ботве, он издавал глухое, почти медитативное рычание — сибирскую мантру отчаяния: «Лучше бы я в Сочи дворником сдох... За что мне эта кара... Почему эта трава лезет, когда я с корнем выдрал её вчера? Да она назло, гадина, растёт!»

И именно тут, в позе ракообразного, огородника настигала Зависть. Чёрная, вязкая, как болотная жижа весной. Зависть к соседу Ваське. Васька был позором улицы, её гнилым зубом мудрости. Его участок являл собой биом постапокалипсиса: лопухи размером с малолитражку, крапива, которой брезговали даже всеядные куры. Васька лежал на крыльце, пил холодные напитки из трёхлитровой банки и перелистывал журнал с красивыми и ухоженными картинками огородов. Каждое движение тяпки на соседнем участке отдавалось в душе труженика ядовитой мыслью: «Вот гад. Бездельник. И ведь ему этот огород даром не упёрся!» Но Васька был неуязвим. Скрип его летней веранды звучал громче артиллерийской канонады, и в этом скрипе была заключена вся несправедливость бытия. Порой Гаврил Захарович ловил себя на том, что всерьёз обдумывает план ночной диверсии с лейкой и крапивным настоем, но совесть (и Лиля Васильевна) останавливали.

Потому что огород в Сибири — это не источник витаминов. Это ринг. Война с природой, которая тебя ненавидит, и с соседями, которые ненавидят тебя чуть меньше, чем колорадского

жука. Взять, к примеру, войну за межу. Любой сосед, не имевший геодезического образования, но обладавший рейкой и бутылкой самогона, каждую весну объявлял, что забор «уплыл» на его территорию на пятнадцать сантиметров. «Ты своей дорожкой, — каркал он, — мне доступ солнца к теплице перекрыл! У меня огурцы теперь кривые от нервов растут!» Начинался многомесячный театр войны, который заканчивался в ноябре, когда обе стороны забывали, из-за чего сыр-бор горел. А на следующую весну — всё сначала, будто по сценарию, написанному психопатом.

А святая святых — трактор. Один на всю округу. Его водитель, Серя-Вася, с хитрым взглядом человека, познавшего тщету всего сущего, был верховным жрецом пахоты. К кому он заедет первым, тот имел полное моральное право не пропускать технику через свой огород к соседям. От этого зависело, будешь ты ходить с осанкой патриция или до июня долбить землю лопатой, матеря Серю-Васю и его трактор. Гаврил Захарович однажды подкараулил Серю-Васю у магазина, сунул ему пол-литра и кусок сала — и трактор пришёл первым. Соседка обиделась до слёз и две недели не здоровалась. Гаврил Захарович же ходил именинником.

Всё, что удавалось вырастить ценою радикулита и морального истощения, осенью стаскивалось в Погреб. Погреб — это не овощехранилище, это герметичный склеп сибирской уверенности в завтрашнем дне. Дверь туда открывалась с тем же трепетом, с каким вскрывают гробницу фараона. Внутри, в многослойных геологических отложениях, покоились банки. «Вишня-88», «Огурцы (взрывные)», «Рагу овощное, консистенция замазки для окон». Археолог из будущего, наткнувшись на этот подвал, решил бы, что это культовое сооружение поклонения божеству по имени Запасливость. Запасов хватило бы на прокорм средней переписи населения небольшого китайского уезда лет на пятнадцать-двадцать. И каждый год Лиля Васильевна клялась, что больше ничего закатывать не будет. И каждый год в августе её можно было найти с эмалированным тазом огурцов и лицом полководца перед решающей битвой.

Выдача провианта из этого бункера происходила по строжайшему регламенту. Хозяйка-хранительница спускалась вниз в галошах на босу ногу. Она выносила банку на свет. Смотрела сквозь неё, словно это был хрустальный шар. Внутри бултыхалось нечто, по цвету напоминающее болотную тину. Определить природу субстанции не брался бы даже хроматограф. Смородина? Свёкла? Кабачковая икра, которая от горя сама захотела стать чечевичной похлёбкой? Хозяйка нюхала крышку, и по напряжённому молчанию членов семьи становилось ясно: решается судьба ужина. Наконец вердикт: «Бери. Это пятнадцатилетней выдержки смородина. Кажется, забродила, но для пирога пойдёт. Главное, не дыши, когда пробку снимаешь».

И вот тут-то, когда вечернее солнце уже не жалило, а в воздухе пахло перегноем и дымом, звучала фраза, мощнее которой нет ни в одном языке мира. Фраза, выкованная поколениями сибирских скопидомов: «Банку верни. Слышишь? Верни банку. Эту, с рифлёным доньшком и зелёной крышкой. Её прабабка ещё с довоенных времён берегла. А то не дам больше ничего!» В голове моментально вспыхивал образ шкафа в тесной городской кухне, где пустые банки живут плотнее, чем квартирносъёмщики в общежитии. И ведь не заканчивается всё стандартным сервантом! Там существуют особые, параллельные измерения — легендарные шкафы над коридором. В этих антресолях, судя по всему, банки ещё и размножаются почкованием: залезешь через год — а там уже целая батарея стеклотары, о которой ты и не знал. Ими не пользуются. Их не выбрасывают. Их, как мощи святого, передают по наследству, нежно перекладывая истлевшими газетами «Сельская жизнь» за 1987 год. Гаврил Захарович как-то попытался тайком выкинуть треснувшую пол-литровку — Лилия Васильевна обнаружила пропажу через три часа и устроила допрос с пристрастием. «Ты что, не понимаешь, — рыдала она, — у этой банки горлышко овальное, такие уже пятьдесят лет не делают!» С тех пор Гаврил Захарович выкидывает только явно разбитое, и то под покровом ночи.

Но была в этой жизни одна сила, которая перекрывала даже банковый культ. Сила бодливая, свирепая и пакостная до такой степени, что сам Сатана, глядя на неё, снимает шляпу и

уважительно цокает копытом. Речь о корове Апрельке. Рыжая туша с глазами, которые смотрели с такой неподдельной, почти артистичной антипатией, будто ты лично скрестил её мать с танком и эта гремучая смесь способна разрушить любую психику. Апрелька, названная в честь месяца своего рождения, словно какой-то римский император, страдающий ожирением и отсутствием совести, появилась на свет восьмого апреля. И с этого момента календарь перестал иметь значение, ибо все триста шестьдесят пять дней в году стали днём суда. Суда коровьего, беспощадного и с неутомимой энергией.

Доить эту рогатую диверсию можно было ровно пять месяцев в году. Исключая, разумеется, апрель — её личный священный месяц рождения. А также, по её личному коровьему указу, три месяца до апреля и три после. Потому что она, видите ли, «в декретный отпуск уходит». Скандальная, как продавец советской заправки в очереди за колбасой, Апрелька без особого повода орала на всю округу. Не доила. Заходила в любой плохо охраняемый огород к соседям, потому что свой огород она уже превратила в полигон для испытания ядерных копыт, а соседский — это такая французская Ривьера, где растёт капуста. Все военные преступления, совершённые этим животным, описать в пределах одного рассказа невозможно, поскольку её неутомимость и свободолюбивый нрав ежедневно на своих рогах приносили какие-то новости.

Однажды она очутилась В ПОГРЕБЕ. Как она туда провалилась — загадка, достойная внимания Стивена Хокинга. Видимо, корова решила, что раз римский император, то и жить должна в катакомбах. Сидит внизу, в темноте, доедает квашеную капусту да ошмётки солений с невозмутимой коровьей мордой и чувством полного поражения человечества. Спасали её всем селом и автомобильным краном, а она вместо благодарности на прощание навалила на голову владельцу погреба — прямо на его любимую кепку, которая после этого пошла на тряпки. Любая выращенная капуста в пределах пешей досягаемости Апрельки подвергалась геноциду. Но она не жрала просто так. Она топтала. Она радостно танцевала на каждой грядке, выписывая копытами какой-то сумасшедший ритуальный танец. А потом аккуратно, с почти буддийской отрешённостью, съедала верхушки самых красивых кочанов, оставив пеньки и памятный «подарок», похожий на архитектурную композицию из переваренной капусты, украшенную бантиком из собственного же лопуха.

А что она вытворяла с бельём! Любое попавшееся на пути, оставленное сушиться на верёвке добро — простыни, наволочки и, главное, панталоны. Особенно кружевные, малиновые, с рюшами. Апрелька, как настоящая дама с тонким вкусом, испытывала врождённое чувство прекрасного и примеряла всё на себя. Одним ловким движением мощной шеи и рога — и всё чистое и белое отправлялось в грязь как не соответствующее концепции природного естества. Она втаптывала копытами всё белоснежное ввиду схожести с нелюбимым снегом, а потом надевала самые красивые панталоны на свой правый рог и ходила по селу этаким карибской королевой пиратов с «весёлым Роджером» на заднице. Честное слово, она гордилась собой. Лиля Васильевна однажды застала Апрельку в момент, когда та примеряла её любимую ночную рубашку. Завязалась борьба, в результате которой корова ушла победительницей, а рубашка осталась висеть на колючей проволоке, разорванная в клочья.

Терроризм малых форм. Апрелька обожала оставлять сюрпризы. Свежие, ароматные, размером с велосипедное колесо. И ждала, пока какой-нибудь разиня, не закрыв рот, автоматически туда наступит. Апрелька стоит в отдалении и ехидно ухмыляется — насколько это вообще возможно для коровы. Она мостила спать посреди дороги, причём так, что не обойти. Она сжирала помидоры прямо с куста, причём не созревшие — ей подавай зелёные, она их любила за хруст. Она разобрала забор к соседям, не потому что хотела к ним в гости, а потому что забор ей просто не нравился — косо стоял, портил пейзаж. Проявляя нездоровое любопытство, она засунула морду в окно и съела у соседа картошку прямо из тарелки. Сосед, здоровый мужик, бывший шахтёр, после этого плакал и говорил, что видел всякое, но чтобы корова ела у него из-под носа — это перебор.

От всего этого безобразия каждый год хотелось собрать чемодан. Потому что корова выходила из зимней спячки (да, она тоже впадала в неё по настроению). Она орала с четырёх утра под окном, требуя, чтобы её отпустили губить урожай. Она пинала сарай, гоняла петухов и писала в ведро с питьевой водой, которое стояло у крыльца «для красоты». Корова по имени Апрелька — это не просто животное. Это кармическое возмездие. Это знак того, что где-то в прошлой жизни Гаврил Захарович был тираном и теперь расплачивается. Он частенько сидел на крыльце, глядя, как Апрелька с гордым видом обходит свои владения, и думал: «Ну, может, в следующей жизни я буду бабочкой. Или хотя бы кактусом. У кактусов нет молока, которое надо отдавать два раза в день».

Но, как говорится, одни проблемы хороши, когда есть другие, ещё более весёлые. Потому что помимо коровы был у Гаврила Захаровича сосед — местный юродивый Колька ГорАвый, которого за уникальную способность пить не глядя что в народе прозвали Колькой ГорЛовым. Колька вообще был страшно аварийный: с одной стопки его уносило в хлам, и он тут же начинал бузить на всё, что двигалось и не двигалось (например, столб, дерево и другие предметы, встречающиеся ему на пути). Каждый уважающий себя абазинец, у которого есть хоть клочок земли и корова по имени какого-нибудь месяца (Апрелька, Майка, Февралька — все они были под стать друг другу), рано или поздно начинает мечтать хоть на недельку вырваться из цепких, словно щупальца гигантского осьминога, объятий родного огорода. И главное — вырваться от местного вороватого юродивого, гения стакана и позора посёлка — Кольки ГорАвого, бастарда мамкиной ветрености.

Колька был очень бдителен до чужого имущества и при первой же возможности присваивал его себе. Он регулярно пил свиную, ослиную, коровью мочу, хоть немного разбавленную спиртом, и при этом требовал добавки на спор, хотя с ним никто и не спорил. Он просто кричал: «Спорим, я это сейчас выпью!» — и залпом выпивал, пока наблюдатели находились в шоке, не успев произнести ни слова. Это не человек — это аварийное биологическое оружие, которое бесцельно само себя перемещает в пространстве. С одной стопки ослиной мочи его уносило в такие дебри, откуда не возвращаются даже смелые грибники. Он начинал бузить на всё, что двигается: на кошек, на тень, на собственные ноги. А если что-то не двигалось — например, фонарный столб, забор или древняя груша, — Колька пытался это пометить, забыв при этом снять штаны, и по факту метил только себя, причём так «пометить» он мог, проходя по одной улице пять-шесть раз, всегда возвращаясь домой сильно мокрый.

Детвора посёлка, обладающая талантами, которым позавидовал бы сам Есенин, сочинила про Кольку гениальный фольклор, применяемый в качестве детской считалочки в играх:

Горловой-Горловой — придурковатый и простой! Он с утра бродит, на голубей походит. Колька пьёт — семья в тревоге живёт, А кого найдёт — того рогами забудет. Колька пьёт — и день пройдёт, Колька спит — и год летит. Колька пьёт, не видя берегов, Потерял работу, дом, любовь. Кого догоню, того заклюю-заплюю. Разбегитесь, детвора, по двору, туда-сюда! Раз, два, три — попу бережно протри. Кто забыл — тому беда: Станет Колькой навсегда.

Услышав считалочку, Колька приходил в остервенение, достойное голодного глиста. Он блаженно кидался на детей, кошек, собак, кур и особенно на гусей. Гуси, кстати, однажды дали ему сдачи, после чего Колька неделю ходил, косолапив и без того неровные ножки. Смелость просыпалась в нём только в толпе. Один Колька — трясущаяся, пахнущая овечьим стадом в мокрую погоду субстанция. Но как только рядом появлялся его брат, которому было искренне жалко слабоумного, Колька превращался в тирана. Брат с детства и до двадцати пяти лет вынужденно подтирал за ним козявки, которые Колька обязательно ел с видом знатока, дегустирующего редкое вино, сопли, а также следы эпических «аварий» по-большому прямо в штанах на людях. Однажды Колька обкакался прямо на крыльце зареченского ДК, приняв урну за туалет. Брату пришлось голыми руками оттирать ступеньки бензином и клясться, что это не Колька, а упавший с неба метеорит. С тех пор брат запил. Крепко и надолго.

Если же толпы не было, и Колька оставался один на один с миром, он резко добрел. Он тянул свою кривую, вечно грязную ручонку для рукопожатия — и горе тому, кто жал её. После этого руку можно было ампутировать ради безопасности организма. Пахло от Кольки так, будто стадо овец провело неделю в болоте, а потом их всех согнали в одного нестираного Кольку. Появлялся Колька на публике всегда с прискорбным лицом, достойным похоронной процессии, и ходил по соседям с сакраментальным: «Займи-до-получки». Дело в том, что Колька никогда и нигде не работал. Вообще. Даже не пробовал. «Получка» для него была таким же мифическим понятием, как единорог или честный гаишник. Он просил пятьдесят рубчиков и мог поклясться мамой, папой, бабушкой и здоровьем братовых детей, что отдаст, когда станет постарше и поумнее — в двадцать семь ноль-ноль.

Но чаще всего соседа Кольку можно было встретить в трёх местах: там, где наливают; там, где разливают; и там, где... туалет. В Абазе-заречной туалеты строили по одному проекту с квартирами, то есть один дом на два соседа — так называемые двухквартирки с общим фундаментом, но разными входами. Вот и туалет в огороде был двухквартирка — двухместный деревенский туалет «Тронный зал сельской демократии». Сооружение, которое даже стыдливо назвать «скворечником», — это скорее памятник человеческой надежде на то, что до весны ещё дожить надо. Две дырявые кабинки из серых досок, скреплённых ржавыми гвоздями и молитвами. Крыша — шиферный коллаж: половину унесло ураганом, половину Колька растащил на розжиг, когда «экспериментировал с шашлыком из воробьёв». Дверь висела на одной петле и по ночам стучала — словно призрак того, кто когда-то здесь обитал, после того как объелся солёными огурцами и запил их парным молоком и самогоном. Внутри — классика жанра: дыра в полу, огромные мухи, прилипшие на стенах то ли от переедания, то ли от лени, паутина в углах и сопутствующий аромат, от которого вянет крапива у забора.

Но главная фишка этого заведения — Колька. Он оккупировал его каждое утро, абсолютно всегда и при любой погоде, как только солнце касалось горизонта, а жители его кишечника начинали бить тревогу. Колька сидел в туалете. Кряхтел, как старый паровоз, пытающийся взобраться на гору. Ну а вообще иногда складывалось впечатление, что он там вообще всегда находится, будто это его вторая квартира. Утренний ритуал для Кольки — дело святое. Соседи, подходя к туалету, видели, что соседская дверь открыта, — значит, Колька уже там. Любил Колька во время раздумий созерцать свой заросший огород, да и упустить ему чего интересного не хотелось. Соседи же, очевидно, в битве за территорию проигрывали, дрожа от естественных потребностей, то ли от совести, то ли от желания интимно испортить воздух, терпеливо ждали, пока Колька «персональные дела справит». Кольку же это ни грамма не смущало, и он, никуда не торопясь, размышлял, сидя в позе думающей Венеры Милосской, только со спущенными штанами и с сигаретой в зубах: «Эх, жизнь... как таракан в компоте. Плаваешь, плывёшь, а потом хлоп — и выпить нечего...» Иногда, на милость соседям, Колька объявлял «Технический перерыв». Когда запас ворованной из соседских почтовых ящиков газетной бумаги, которую он называл «серой прессой», заканчивался. Газеты, к слову, Колька использовал не по прямому назначению, а для подтирания причинного места после артиллерийских залпов. Ну а иногда, когда вставать было лень, Колька начинал односторонний бартер с соседями, просунув руку в щель между стеной и ставив у соседей рулон туалетной бумаги, после чего, сильно кряхтя, освобождал содержимое, стараясь направить результат в сторону соседа. По слухам, под дыркой туалета был зарыт клад: три бутылки «Столичной», которые Колька припрятал на случай ядерной войны. Место это вообще было наделено природным феноменом: после визита Кольки туалет пах так, что комары улетали, а соседская груша начинала плодоносить лимонами. Этот туалет — единственное место, где Колька чувствовал себя властителем дум, повелителем запахов и жрецом утренних испарений. Сельчане уже смирились: если из щелей не валит сизый дымок, а слышится матерное бормотание — значит, день начался как обычно.

Колька ГорЛовой — гений ретроспективной арифметики. В его мире два плюс два равно «а помнишь, как я тебе в прошлый раз наливал?» — правда, это был спирт именно того человека, кому это было адресовано. И ведь фактически он не врал, он... творчески пересматривал историю. В начале девяностых Колька и правда «богател» — если считать богатством три ящика стеклотары, найденные на свалке, и пару килограммов ворованных гвоздей, которые он гордо называл «запасом моей строительной империи». Его нелепые «бизнес-проекты» были шедеврами эпохи: то он торговал воздухом из-под крана, выдавая его за «элитный кислород с Припяти», то скупал у бабулек пустые бутылки, уверяя, что «скоро их будут менять на золото», то у кузнеца Захарыча тайком спёр конную косилку. Однажды он даже пытался продать соседскому козлу акции мифического завода — тот, правда, предпочёл просто сжевать листок с плохо нарисованным Лениным.

Но времена изменились, а Колька ГорЛовой — нет. Теперь он занимал полтинник до зарплаты не потому, что беден, а потому что «вкладывается в ностальгию». Каждая взятая в долг купюра для него — билет в те славные дни, когда он «ходил в кожанке брата и часы с бриллиантами носил». Часы были из жвачки «Love is...», а кожанка — продырявленный плащ от стоящего летом огородного пугала. Колька ГорЛовой — блаженный простофиля, в котором смешались горечь самогона, пыль просёлочных дорог и неистребимая вера в то, что завтра точно начнётся новая жизнь. Ну а пока можно и ещё на одну стопку у кого-нибудь занять. Его жизненная позиция проста: если день начался с трясущихся рук — это не похмелье, а «утренняя зарядка для сосудов». Колька — гурู импровизации: может приготовить борщ из крапивы и сигаретных окурков, починить забор соседской фанерой и уснуть стоя, прислонившись к корове, которую уверенно называет «мамкой». Он мастер превращать проблемы в ещё большие проблемы и дольку позора: когда у него ветром унесло последние штаны с верёвки, заявил, что «ветер жалко — там дырка на жопе была!», а потом три дня ходил в трусах с надписью «лазейка», утверждая, что это «возврат к истокам». Любимое хобби у Кольки — вести споры и переговоры с курами о мировой политике. Куры, по его словам, «консерваторы по своим убеждениям и давно отстали от столичных новостей». А ещё Колька любил собирать «коллекцию»: в карманах у него часто бывали гвозди, пуговицы, полусъеденный пряник забытого года и записка от бывшей жены: «Шкварка со шнобелем, я ушла. И забрала пельмени». Однажды Колька выиграл в карты у беглого каторжника Струна петуха, потом проиграл его же, но так и не отдал, заложив каторжника — говорил, что «птица — заложник судьбы и неправильной математики». А ещё он уверен, что может общаться с потусторонним миром, и после третьей рюмки сам становится похож на что-то неприемлемое, и местные ребята тайком кладут ему под порог объедки, чтобы «Колька ГорЛовой не наслал на них свои знания по математике».

Колька ГорЛовой — это как тот самый забытый погреб в деревне: снаружи — развалины, а внутри — бутылки, тайны и пара коровьих лепёшек «на всякий случай». Без него село теряет краски: никто не напоит лягушек остатками дождевой воды, не провоет ночью под луной частушку «про любовь... про тебя... про Владимирский централ... джими-джими ача-ача» и не объяснит, почему жизнь похожа на ведро с солёными огурцами — «хрустит, да недолго». Его девиз: «В улей тут думать? Трясти надо!» И он трясёт — судьбу, карманы в поисках мелочи и головой, когда пытается вспомнить, куда подевалась та самая бутылка, что «точно была тут вчера». Село вздыхает, крестится, но шепчет: «Пока Колька ГорЛовой на улице — ничего кроме хлама у соседей не пропадёт...» Колька регулярно напоминал деревенским о прошлом богатстве, чтобы хоть как-то оправдать текущий крах: «Я ж не нищий, я временно обедневший! В девяносто четвёртом у меня тут целых два гаража было!» Гаражи — это сарай с дырявой крышей и скамейка у магазина, в котором трудилась его престарелая мать. Любил Колька и создать вокруг себя ауру таинственности: «Да я мог бы вам всем кредиты раздать, да вот швейцарский счёт в Сберке заморожен!» В общем, убедил Колька сам себя, что жизнь его — не пьяный угар, а «крутой сюжет с флешбэками». Его займы — не попро-

шайничество, а «инвестиции в светлое прошлое». Когда он берёт у соседа пятёрку на бутылку «Боярышника», в голове у него рисуется картина: вот он, Колька-магнит, раздаёт долги мешками «потом-отдам», а пока — «нужно поддержать ликвидность, брат-кредитор!»

Вместе с Колькой проживала его мать — тётка-груша: вулкан в фартуке, у которой «клиент всегда не прав, а если прав — пусть квитанцию ищет». Этаким гибрид базарной Весты с паровозом: рост под метр с кепкой и примерно столько же в ширину к низу туловища, в засаленном халате цвета «слоновая кость», волосы — седой ёжик, заколотый спицей от старой вязальной машины. Говорят, этой спицей она однажды отбилась от Колькиных друзей, крича: «У меня тут не благотворительная столовая, а магазин, сволочи!» Лицо — будто карта местности: морщины-дороги ведут к хитрым глазам-щелочкам, которые видят насквозь, кто пришёл за солью, а кого и обсчитать можно. Голос — как сирена брошенной «Волги»: хриплый, с надрывом, но разносящийся на три улицы. Её магазин — филиал неприбранного ада с витриной. На полках — сюрреализм: банка с огурцами соседствует с китайским фонариком *Made in China*, а заготовленные ценники, написанные кривым почерком, ловко менялись в зависимости от внешнего вида покупателя, честно информируя: «Хлеб. Свежий. В прошлом месяце завезли». Тётка-груша не продаёт — она ведёт боевые действия. Покупатель попросит «молоко пожирнее» — получит лекцию: «Жирнее?! Да ты на родителей-то своих глянь, дорогуша, тебе обезжиренное до пенсии хватит!» Спросит сдачу — услышит: «Сдача? А ты мне сдачу за свою рожу дашь? Я на щётках всё верно посчитала, бери леденец и вали отсюда!» Фишка её характера — грубость как форма жизни. Когда Колька в детстве притащил домой бродячего пса, она орала: «Выброси эту шавку, а то я её в холодец пушу!» — а потом всю ночь шипела на Кольку: «Чего придумал, паршивец, сам жрёт за троих, ещё эту шавку приволок». Хотя в общем-то про невестку она сказала именно то же самое, отчего та и ушла. Соседи старались её всерьёз не воспринимать, но по возможности пользовались её служебным положением сельской продавщицы: когда в селе наступала жара — только тётка-груша крикнет: «Кому квасу для расстройств? Берите, сволочи, а то от жары сдохнете — кто мне долги отдавать будет?!» — и толпа бежит за спасительной бурдой. Её прошлое — тайна. Говорят, в молодости она была «бригадиршей» — так объясняют её умение выбивать долги. А ещё она свято верит, что «все мужики — сволочи», и учит этому Кольку с пелёнок: «Гляди, сынок, вот твой отец... Нет, лучше не гляди. Выпей компоту и запомни: баба без кулаков — как ларек без замков!» Её философия: «Доброе слово и кошке приятно, а нам, дуракам, и подзатыльник впрок!»; «Хочешь мира? Готовься к тому, что тебя кинут на деньги. Лучше сама кидай первым!»; «Слезам делу не поможешь. А вот матом — запросто!» Однажды тётка-груша заставила плакать даже налогового инспектора. Тот пришёл с проверкой — ушёл с мешком гнилых яблок и фразой: «Это вам штраф... нет, вы уж сами разберитесь». А ещё она — единственная, кому Колька боится врать. Стоит ей рывкнуть: «Колька, ты опять бурды нализался?!» — он тут же выдаёт: «Нет, мам! Я случайно описался...» Другими словами, мать Кольки — это как тот самый просроченный майонез в ведре из её магазина: вроде бы испортился, но без него салат — не салат. Магазин «Окололица» держится на её крике, хриплом смехе и банке «секретного» самогона под прилавком — для «особо состоятельных клиентов».

И вот, окончательно устав от пыток огорода, коровы Апрельки, вечно заглядывающего в огород соседа Кольки ГорЛового, его туалетных оккупаций и тётки-груши с её философией, Гаврил Захарович однажды вечером сидел на крыльце. Лиля Васильевна стояла рядом, держа в руках пустую банку с рифлёным доньшком и смотрела в сторону коровника, откуда доносилось победное мычание — Апрелька только что сожрала очередную порцию капусты, выращенной кровью и потом. Колька ГорЛовой, сидя на своём троне, громко кряхтел и пытался поджечь газету прямо в туалете, чтобы «света было побольше для чтения». И тут Гаврил Захарович сказал то, что зрело в нём три последних года:

— Лиля, а давай-ка мы в этом году точно поедem. На Кубань. К свояку. Плевать на огород. Плевать на Апрельку. Плевать на Кольку. Пусть хоть трактор Серя-Вася нам в забор въедет.

Лиля Васильевна, женщина суровая, но справедливая, помолчала минуту, потом перекрестилась на восток (почему-то именно на восток, хотя Кубань на юге) и выдала:

— Едем. Но сначала надо решить, на кого оставить это безобразие.

Переглянулись. Решение пришло мгновенно. Из двух зол выбирают меньшее. Вариант первый: Колька сам залезет и начнёт хозяйничать, когда они уедут. Вариант второй: сказать Кольке прямо, дать ему самогона за присмотр — тогда он хотя бы будет чувствовать ответственность. Выбрали второе, предварительно заперев сарай на три замка и спрятав Апрелькины рога (в прямом смысле — Лиля Васильевна на всякий случай напилела веток и загородила калитку).

Кольке ГорЛовому провели инструктаж. Лиля Васильевна стояла с перечнем, похожим на план военной операции. Гаврил Захарович держал перед собой ящик «Абазинской бормотухи» — собственного производства, двойной перегонки, с секретным ингредиентом из соседских яблок.

— Колька, слушай сюда, — строго начала Лиля Васильевна. — Корми кур. Два раза в день. Не надо поить их своей мочой, они и так нестись перестанут от страха. Апрельку подоишь утром и вечером. А то вернёмся — она тебя сама подоит, и не тем местом. В огород не заходи, а то примем за сорняк и выдернем вместе с лопухами. Понял?

Колька кивал, икая, и смотрел на ящик с «бормотухой» глазами ребёнка, которому пообещали целый новогодний подарок. Хотя в глазах читался и ужас человека, впервые увидевшего вблизи живое коровье вымя. Гаврил Захарович добавил:

— За ящик отвечаешь головой. Не выпей всё в первый же день. Растяни удовольствие. Ну и банки потом верни. Все до единой. С рифлёным доньшком. Я их пересчитал.

Для надёжности написали расписание на холодильнике, прямо на магнитике с видом Парижа: «Понедельник: Апрелька. Вторник: Апрелька. Среда: Апрелька. Четверг: Апрелька и куры (не перепутай). Пятница: Апрелька и если останешься жив — полей огурцы ведром воды. Суббота: отдых (от Апрельки не отдыхать). Воскресенье: молись, чтобы мы поскорее вернулись». Колька клятвенно пообещал, что справится, хотя его левая рука уже тянулась к ящику.

Сборы начались за месяц. Лиля Васильевна, как шершень на варенье, носилась по дому: «А вдруг на Кубани похолодает? Шерстяные носки брать! А вдруг банкет? Платье с рюшами! А вдруг чача крепкая? Аспирин! А вдруг Свояк устроит экскурсию в горы? Ботинки на платформе! А вдруг там, как у нас, гнус? Репеллент! Нет, два!» Чемодан набила так, будто не на пару недель, а в кругосветку на плоту собрались. Гаврил Захарович робко предложил: «Может, возьмём зубную пасту вместо третьего утюга?» — «Ты что, там у Свояка утюг сломается, а мы будем ходить в мятых рубашках позориться?!» Пришлось Гаврилу Захаровичу сдаться — везут утюг. И ещё гладильную доску. И штопор (Кубань, чача — не шутка). И запасную банку тех самых окаменевших огурцов, чтобы Свояк знал, каково это — сибирское долголетие в рассоле.

А Гаврил Захарович тем временем развернул бурную деятельность в бане. Сибирский алхимик-любитель ввязался в авантюру благородную и пастеризованную: нужно было подготовить подарок Свояку. Не ехать же с пустыми руками? Свояк, понимаете ли, с Кубани, а угостить его нечем, кроме как воспоминаниями о советском изобилии. Пришлось вспомнить «древнее искусство», которое наши предки изобрели, пока медведи на балалайках им аккомпанировали, и завещали эту великую тайну сохранять, как строительство пещеры Конданы в Махараштре. Самогоноварение — это вам не шашлык мариновать! Тут нужны навыки партизана: прятаться от жены, соседей и участкового Малинкина, который появлялся ровно тогда, когда брага начинала благоухать «ароматом» прокисших надежд. Баньку подтапливал ежедневно — не столько для чистоты тела, сколько для маскировки. Лиля Васильевна уже подозревала неладное: «Ты чего это баню по десять раз в день паришь? Аль опять с друзьями-алкашами эксперименты

ставишь?» Гаврил Захарович уверенно отвечал: «Дорогая, я духовно очищаюсь перед дальней дорогой!» А сам про себя думал: «Очищаю, да... Спирт-ректификат от сивушных масел». Лиля Васильевна, правда, уже мыслями была на Кубани — и видимо, мечтала поскорее бежать от «творчества» мужа к тёплому морю и нормальной чаше.

Название для своего шедевра Гаврил Захарович придумывал, как Бродский стихи. Нужно ведь, чтобы отражало «сибирский характер» — то есть, чтобы после первой стопки ноги отнимались, а Колька ГорЛовой, попробовав, с уважением шептал: «Это ж тебя, Гаврил Захарович, в Арктике греть будет!» Варианты были: «Енисейский Угар», «Медвежья лапа», «Сибирский Хирург» (потому что режет без наркоза), но остановился на «Абазинская бормотуха». Звучит солидно, как марочное вино, а не как продукт тайных ночных бдений с перегонным кубом из старой скороварки. Лиля Васильевна, услышав название, фыркнула: «Розлив... У тебя даже чайник накипь испорченную не розливает!» Но критиков не слушают — их топят в бочке с брагой. Главное — не уронить честь перед кубанскими казачками. А то Свояк хлебнёт «розлива», да и скажет: «У вас, северян, и самогон жидкий, как слёзы от коммуналки!» Пришлось в рецепт добавить «сибирской души» — то есть, яблочек с участка соседа (того самого Васьки-бездельника). Он, кстати, до сих пор не понял, куда делся его урожай. Напиток получился. На вкус — как удар кувалдой по печени, зато после третьей стопки Лиля Васильевна стала напоминать Софи Лорен. Колька ГорЛовой, которому дали попробовать на пробу (бесплатно, естественно, в качестве аванса), после первой же рюмки прославил «Абазинский розлив» в ранг легенды посёлка. Он сначала заплакал, сказал: «Гаврил Захарович, вы бог», потом попытался станцевать лезгинку, споткнулся о собственную штанину и уснул лицом в миске с солёными груздями. Милиция, правда, до сих пор ищет того, кто подбросил бутылку с надписью «Элитный эксклюзив» в опорный пункт. Говорят, участковый Малинкин после пробы заявил, что «это хуже, чем тувинскую свадьбу разнимать». Ну что ж, искусство требует жертв. Главное — чтобы Свояк остался доволен. Ну или просто потерял дар речи. Неважно. В Сибири выживает сильнейший, а представиться старейший. И тот, у кого самогон крепче.

Глава 2. Когда время превращается в кисель

Лиля Васильевна каждое утро теперь начинала не с будильника, а с персонального обратного отсчёта, висевшего в воздухе, как приговор с отсрочкой: «Через 5 дней, 4 часа и 10 минут выезжаем!» Фраза звучала с интонацией командира космического корабля перед стартом, хотя пунктом назначения была не лунная база, а кубанская родня, где их, как она сама же и утверждала, будут опознавать не по паспортам, а по внешнему виду. Впрочем, ровно в три часа ночи за три дня до отъезда она всё равно вскакивала в холодном поту и орала в темноту: «А загранпаспорта-то взяли?!». На что Гаврил Захарович, не размыкая век, резонировал из-под одеяла: «Мы едем к родне, а не в Швейцарию! Там нас без визы признают... по запаху абазинской бормотухи и выражению хронического счастья на лице. Спи, ликвидатор моей нервной системы!»

Последние дни перед отъездом тянулись, как резиновые сапоги по густой, засасывающей грязи. И если Гаврил Захарович ещё как-то, посредством дегустации продукции стратегического предприятия «Абазинский розлив», справлялся с синхронизацией времени и пространства, то Лиля Васильевна перешла со счёта на дни в счёт на секунды. Всем доподлинно известно: если не ждать, пока чайник закипит, а стоять над ним с гипнотизирующим взглядом, он закипает в два раза дольше. С секундами та же история. На работе её начальник, прознав про отпуск на Кубани, внезапно извлёк из закровов души «сверхсрочный проект» — «вручную перекопать лопатой весь лесной массив Таштыпского района для профилактики пожарной безопасности». А Гаврил Захарович в это время уже мыслями не просто парил, а совершал фигуры высшего пилотажа в кубанских степях, лежа на диване и сияя, как сытый кот, уронивший банку сметаны, и в итоге на каком-то путевом листе, вместо производственной графы «3 куба леса», аккуратно вывел: «3 литра чачи». Документ, до сих пор где-то в бухгалтерии гуляет как образец альтернативной экономики.

За день перед отъездом дом превратился в филиал хаоса и учёта материальных ценностей. Лиля Васильевна на три раза пересчитала и благословила чемоданы, узлы, свёртки, провизию в дорогу, бутерброды с котлетой толщиной в тракторную гусеницу, банки солений и термос с чаем такой крепости, что от него ложка стояла, а чайная заварка грозилась прорасти. Среди трёх пар шерстяных носков, гладильной доски, двух утюгов (один запасной, на случай если первый дезертирует) и литровой банки с огурцами, покоился артефакт — пустая, чисто вымытая, почти стерильная банка с овальным горлышком и зелёной крышкой. Очень удобная банка в подарок. Ею не один десяток лет пользовались, и она повидала всё: от малинового варенья до черновиков стихотворений, от забытого компота до хранения мелочи. Лиля Васильевна, упаковывая её как реликвию, изрекла сакральную формулу: «Добро должно ходить по кругу». Круг замкнулся — банка возвращалась на историческую родину, в сторону южного солнца, кубанского борща, чачи и абсолютного, ничем не замутнённого, божественного ничегонеделания, за которое они с Гаврилой Захаровичем заплатили годами сибирского огородного рабства и регулярными унижениями перед коровой Апрелькой.

Лиля Васильевна торжественно, как свиток с законами Хаммурапи, сунула Кольке последний инструкционный список и строго, с материнским металлом в голосе, сказала:

— Если Апрелька подоит тебя — не жалуйся. В конце концов, это твоя карма. Если что с огородом — дело житейское, переживём.

Колька кивнул с видом посвящённого в тайну рыцаря, спрятал список за пазуху и, в силу магических законов своего организма, тут же его потерял, потому что в кармане его штанов зияла дыра, по своим размерам сопоставимая с кротовой норой. Но, надувая щёки от осознания собственной значимости, он авторитетно заявил: «Всё будет в шоке. Я — челдобрек ответвленный. Я вам с урожаем помогать буду. Я даже помидоры с огурцами съесть могу, если в нечестном бою у Апрельки отвоюю». Гаврил Захарович тяжело вздохнул, окинул хозяйство

взглядом полководца, проигравшего битву, перекрестил Кольку на всякий случай — вдруг божественное вмешательство окажется расторопнее милиции, — и ещё раз оглядел огород, где уже наливались тихой, беспощадной злобой кабачки, а крапива нагло подбиралась к самому крыльцу с явным намерением захватить власть и установить режим всеобщего засилья сорняков. Он перевёл взгляд на Кольку, который уже пытался подоить кошку Мурку, на гордые двухместные туалеты, стоявшие как символ супружеской солидарности, и на Апрельку, чей монументальный силуэт замер на холме, словно памятник коровьему беспределу и абсолютной уверенности в завтрашнем дне.

Вечером, после нескончаемого, как бюджетный дефицит, обвала невыполненных дел, Гаврил Захарович с Лилей Васильевной улеглись пораньше. Укрытый одеялом, словно саркофагом египетского фараона, Гаврил Захарович с ужасом понимает, что сон — это миф, придуманный людьми, у которых нет завтра никаких важных событий. Мозг, будто гиперактивный тамагочи, настойчиво требует внимания, перебирая варианты катастроф: «А вдруг проспишь? А если всё пойдёт не так? А если забыл, что именно ты забыл? А вдруг все внезапно поймут, что ты на самом деле не умеешь гнать хороший самогон, и это окажется твоим главным секретом жизни?» Подушка нагрелась до состояния лавы, одеяло проявляло коварство: то душит в жарких объятиях, то предательски достаёт до плеча, а ноги, как два несговорчивых дипломата, никак не могли найти «то самое» положение. Гаврил Захарович пересчитал всех овец в регионе, включая тех, что уже мигрировали в свой овечий рай. Он медитировал, дыша как тибетский йог на кофеине, и даже отчаянно представлял себя кристально спокойным, но внутренний голос не унимался: «О, кстати, помнишь тот неловкий момент в 1987 году? Давай-ка прокрутим его на повторе, прямо сейчас, с новыми подробностями!»

Утро подкралось не просто незаметно — оно напало исподтишка. Гаврил Захарович проснулся (хотя толком непонятно, спал ли он вообще или просто выпал из реальности в состояние глюка), с лицом, похожим на тесто после неудачного эксперимента, и с мыслью о долгожданной поездке. Оказалось, долгожданный день наступил внезапно, словно зима в Сибири без дров и сена. День, которого так долго ждали и к которому так истово готовились, явил себя, словно очередная серия «Богатые тоже плачут» после длинных выходных. К слову, сериал всегда ждали с трепетом, как пенсионер почтальона с пенсией. «Общественное российское телевидение», словно Нина Григорьевна - строгий учитель русского языка и литературы из абазинской СОШ 5, решило, что выходные — не время для слёз, интриг и внезапных возвращений «умерших» персонажей. В субботу и воскресенье все должны страдать по-настоящему: без сериалов, зато с семьёй, огородом и осознанием, что завтра снова на работу. Надо сказать, ОРТ рассудило мудро: «Зачем транслировать драму, когда люди и так в глубоком стрессе от родственников, огорода и хозяйства?» В будни — другое дело: после трудового дня зритель готов прильнуть к экрану, дабы отвлечься от мыслей о бренности бытия. Рейтинги взлетают, как курс доллара в кризис, а рекламодатели радостно потирают руки. Сериалы подождут, как нервная система пенсионера.

Итак, утро поездки, которое всем своим запалом должно было напоминать, что просыпаешься с чувством, будто выиграл в лотерею, на самом деле напомнило, что билет ты вообще никогда в жизни не покупал. Ох уж это утро, начавшееся с вселенского хаоса. Будильник, который должен был преданно разбудить в пять утра, видимо, решил, что сегодня — его законный выходной, либо просто счёл свою миссию бессмысленной перед лицом надвигающейся неизбежности. Впрочем, разница невелика, потому что в 5:30 Гаврил Захарович с Лилей Васильевной ещё сладко спали в позе двух вопросительных знаков, а в 5:32 уже метались по квартире, как угорелые тараканы после внезапного включения света.

В общем, утро началось с громогласного, почти оперного вопля: «Ганя, ди гидрид твою карбонат, какого выхухоля ты меня не разбудил!». Гаврил Захарович с Лилей Васильевной синхронно взлетели с кровати, как ошпаренные, когда мозг наконец осознал, что в комнате

подозрительно светло, а проклятый будильник молчит, как партизан на допросе. «СОРОК МИНУТ НАЗАД ДОЛЖЕН БЫЛ ЗВОНИТЬ!» — всхлипнул Гаврил Захарович с выражением лица человека, видящего воочию свою немедленную и мучительную казнь без суда и следствия. Лиля Васильевна уже металась по комнате, пытаясь натянуть платье наизнанку и одновременно сунуть зубную щетку в рот, бормоча что-то про «последний автобус», «опоздание на единственный за всю жизнь отдых от вас, дураков» и «гибель всего живого на планете и конкретно в этом доме». На кухне царил ураган: тюбик пасты был жестоко распорот и выпотрошен, вода из умывальника хлестала, как в эпицентре тайфуна. «Паспорта! Паспорта где?!» — голос Лили Васильевны достиг ультразвуковых частот, от которых у соседских собак заложило уши. «Чемодан! Ты чемодан с образцами грунта видела?!» — орал в ответ Гаврил Захарович, роясь под кроватью в поисках носка, который, по всем известным законам физики, обязан был испариться в иное, параллельное измерение. Они сталкивались лбами в дверном проеме, роняя вещи, остатки достоинства и беря новые высоты паники, мысленно уже сочиняя оправдания уровня «сосед съел все документы, нам очень жаль».

Пять часов тридцать две минуты — наступила первая стадия осознания катастрофы.

— Где мои носки?! — орёт Гаврил Захарович, роясь в шкафу с такой яростью, будто ищет там чертежи вечного двигателя.

— Да и-ти-ть-твою шахтёра-мать, ты можешь сам собраться нормально, Гаврил Захарович! Я же тебе вчера чистые носки на кровать положила! Ты чё, глаза коптилкой проел? Чистые носки на кровати лежат, белые, наглаженные, а ты эти, блин, дырявые, как решето, на пятки напялил — да у них дыра размером с твоё чувство стиля! — Носки, конечно, торчат дырой кверху, будто флаг сдающегося разума.

— Лиля Васильевна, может, хватит уже в чемодан тапки совать? Ты там щётку зубную, как заложницу, между резиновыми каблуками зажала! — кричит Гаврил Захарович, пытаясь засунуть в сумку утюг, забыв, что он всё ещё предательски воткнут в розетку.

— Ах ты, жопа горького огурца! — взрывается Лиля Васильевна. — Кто горячий утюг с проводом в чемодан пихает? Ты чё, розетки в поезде ждёшь? Думаешь, там люкс с электропитанием для глажки портянок?!

— Ну вот, один носок есть, а второго нет! Вселенная смеётся надо мной!

— Надень тот, что есть, а второй... с другой партии бери! Ты не на балет едешь, а в Абакан!

5:32 — чайник на плите фыркает, как обиженный паровоз, потому что Лиля Васильевна в суматохе забыла долить воды, и теперь его пустое нутро раскаляется до температуры межпланетного корабля, входящего в атмосферу. Гаврил Захарович, уже с одним носком, пытается открыть холодильник ногой, потому что руки заняты чемоданом и частично душевным раздранием.

— Ты завтрак брала?!

— Какой завтрак?! Мы проспали! Шустрый ты, как твоя Апрелька на водопое!

— Ну хоть бутерброд...

— Бутерброд — это хлеб в одной руке и огурец в другой. Пока бежишь — совмещаешь! В дороге и не такое глотали!

И вот, когда Гаврил Захарович в отчаянии грохнулся на диван, готовый звонить свояку с последней исповедью, его взгляд упал на старые добрые настенные часы с кукушкой, которые ещё его дед завещал похоронить вместе с ним, но они банально не вошли в гроб по габаритам. Стрелки невозмутимо показывали на отметке «4:48». Гаврил Захарович моргнул. «Лиль...» — хрипло начал он. «НЕ МЕШАЙ, Я ПОМАДУ ИЩУ!» — пронеслось из спальни с интонацией банши. «Лиль, глянь на часы». «КАКИЕ ЕЩЁ ЧАСЫ?! У НАС УЖЕ...» Она вылетела в зал, готовая к бою, словно фурия, и замерла, уставившись на циферблат. Молчание. Густое, как арахисовая паста, забытая на дне банки. «Они... стоят?» — прошептала Лиля Васильевна. Гав-

рил Захарович, как сомнамбула, потянулся к будильнику, валявшемуся на полу. Яркий цифровой циферблат неумолимо показывал: «5:32». Они переглянулись. В глазах читался немой вопрос: «Если часы ещё вчера встали в 5:32, а сейчас на часах 4:48...» Арифметика удара молнии: 4:48 минус 5:47 — это час. Целый. Час. Не опоздание. Не крах. Не остановка сердца. Хаос вокруг внезапно обрёл сюрреалистичную, почти музейную тишину. Гаврил Захарович осторожно вынул зубную щетку из кармана пижамных штанов. Лиля Васильевна медленно сняла одну туфлю с левой ноги и один кед с правой. «Значит...» — начал он. «...у нас есть время...» — продолжила она. «...на сборы?» — закончили они хором, словно два артиста, репетирующие финальную сцену пьесы.

И вот они уже сидят на кухне, как два выброшенных штормом на берег счастливец, смотрят, как мирно и даже уважительно закипает чайник. Пока Лиля Васильевна священнодействовала с заваркой, Гаврил Захарович, движимый внезапным приливом благодарности к судьбе и необходимостью срочно утилизировать накопленный стресс, ловко сунул руку за посудными принадлежностями, стоявшими в шкафу, и нащупал идеально мимикрированную ёмкость. Оттуда, из тайника, проверенного годами тихого супружеского противостояния, появилась приплюснутая фляжка с мутноватой жидкостью — его личный «ПВЗ» (По возможности быстро прикосновенный запас самогона), надёжное средство от любых жизненных передряг, включая внезапные перемещения во времени. Час — это целая вечность, когда ты только что пережил локальный апокалипсис. Он, пытаясь действовать незаметно, плеснул себе в чайную чашку добрую стопку, на миг встретился взглядом с Лилей Васильевной, но та лишь едва заметно покачала головой — без обычного гнева и готовности к санкциям, а с пониманием: утро и впрямь было уникальным. Гаврил Захарович сделал глоток. Тёплая волна разлилась по телу, окончательно растворяя остатки паники и привнося в душу почти буддийское принятие неизбежного. А старый будильник молчаливо свидетельствовал: он героически пал в бою со временем ровно 12 часов назад, подарив своим хозяевам утро веселья в стиле «мы все умрём!», а теперь — внезапный бонусный уровень спокойствия.

Но расслабляться было рано. Ещё пару часов назад Гаврил Захарович и Лиля Васильевна были бы готовы собраться и мчаться за какие-то пару минут, но, поймав дзен, обнаружили, что и двух запасных часов оказалось катастрофически мало для спокойных сборов. 6:46 — стратегическое расчётное время выхода, чтобы успеть добежать до остановки, не подорвав здоровье окончательно.

— Ты точно всё взяла? — спрашивает Гаврил Захарович, нервно дёргая дверь, будто проверяет её на прочность перед штормом.

— Да кто его знает, не было времени собраться и подумать, — честно вздыхает Лиля Васильевна. — Потому что иначе было бы слишком просто, и жизнь утратила бы вкус.

6:51 — выскакивая из двора с таким видом, будто за ними гонится рой разъярённых пчёл. Волосы Лили Васильевны торчат в разные стороны, как у ежа после грозы, а Гаврил Захарович пучит глаза, словно базедовик в стадии обострения. Сосед, отправляющий стадо коров на пастбище, снисходительно, с ленцой заправского ковбоя, наблюдает за этим марафоном.

— В отпуск собрались? — ухмыльнулся он, опершись на палку.

— Нет, просто решили пробежаться с чемоданами для драмы! — кричит ему в ответ Лиля Васильевна, спотыкаясь о дорожные ямы и не теряя присутствия духа.

6:56 — по пути Гаврил Захарович хватается за грудь, как кардинал Ришелье в момент интриги.

— Что-то я забыл! Билеты есть?!

— Да! — торжествующе достаёт их Лиля Васильевна вместе с паспортами, размахивая ими как флагами победы.

— Слава богу, хоть что-то по плану. Значит, шансы на успех резко повышаются до 7 процентов.

7:03 — дорога до остановки показалась длинной, как лекция по квантовой физике в исполнении сильно заикающегося профессора. Страдалцы-путешественники начали великий поход из Абазы в сторону Москвы, а там, глядишь, и до Кубани рукой подать. Проблема была в том, что прямого сообщения между Абазой и железнодорожным вокзалом в сторону Москвы не существовало в природе — видимо, местные транспортные власти рассудили, что счастье должно быть труднодостижимым, а иначе какой в нём смысл? Поэтому путь лежал через Абакан, но и тут ждал сюрприз: прямого маршрута из «Заречки», где, как известно, живут только самые стойкие и отчаянные, до Абакана тоже не было. Видимо, чтобы отсеять дикарей ещё на подступах к цивилизации и проверить их на готовность к любым капризам судьбы.

Приходилось выкручиваться, как настоящим героям-первопроходцам. Вариант первый: служебный «Леспромхозовский» автобус, который вечно был забит под завязку школьниками-халявщиками. Их родители свято верили, что, давая деньги детям на маршрут «Мичурина», они их переоценивают, потому что детская смекалка всегда найдёт способ добраться до школы бесплатно и быстрее, а на сэкономленные деньги приобрести по пути жвачку не ради самой жвачки, а ради драгоценного вкладыша. Вариант второй: «на перекладных» — звучит романтично, но на деле означало, что ты то везёшься на попутке с Баян-Баянычем, который везёт картошку и почему-то уверен, что ты ему должен за проезд в два-три раза дороже маршрутного автобуса (от чего зависела цена, он и сам не знал, но держал марку), то трясёшься в телеге, запряжённой Серей-Васей, которая явно мечтает о пенсии, мило расспрашивая пассажиров обо всём на свете, при этом не забывая нелестно «проанализировать» всех выходящих и каждого, кто не подсел к нему. Вариант третий: более цивилизованный, но не менее экстремальный — рейсовый автобус ЛиАЗ, он же «Мичурина», он же «лучший способ проверить, насколько крепко у тебя держатся зубы и вера в человечество».

В общем, на бесплатный автобус Гаврил Захарович и Лиля Васильевна традиционно не успевали — ноги короткие, а будильник видимо не звонил «на окончательное истощение нервной системы», ну и просто судьба такая. Но не беда! Ведь следом уже подкатывал легендарный «Мичурина» — автобус, названный в честь улицы, на которой, как гласила молва, когда-то росло мифическое дерево, дарующее бесконечное терпение тем, кто ежедневно толкался в его салоне. Но вот они на месте. Чемоданы целы, носки, хоть и разные по цвету и габаритам, но на ногах, билеты и паспорта на месте. Распахиваются двери почти уезжающего автобуса, и вот, казалось бы, наконец-то можно перевести дух, как вдруг — о ужас! — Гаврила Захаровича осенило: «А где же мои стратегические запасы? Те самые, что в кустах у гаража припрятаны на чёрный день?» И понял он, что чёрный день настал прямо сейчас. Сердце застучало, как у бешеного бурундука, ноги засемили с частотой крыльев колибри, и он судорожно рванул вперёд к водителю с неожиданной для всех просьбой подождать одного-единственного пассажира, а именно его самого...

Развернулся Гаврил Захарович с такой скоростью, что асфальт, если присмотреться, действительно задымился, и помчался обратно к дому. Лилия Васильевна, застрявшая в проходе автобуса, даже глазом моргнуть не успела, как её благоверный исчез в облаке пыли, оставив после себя лишь силуэт, как в мультфильмах.

— Что ж ты гад делаешь!? Ты куда рванул!? Вернись сейчас же, маршал Груши недоделанный! «Мичуринский» автобус ждать твоего Ватерлоо не будет! Улитка беременная! Ягайло похмельный — ты слышишь, чего говорю! Вернись сейчас же! Мамай Куликовскую просрал, ты «Мичуринский» просрёшь! Черепаха хромая! Или ты сейчас же сядишься в автобус — до автовокзала, или на кол — до макушки! — гремело из салона, создавая пассажирам незапланированный, но высокохудожественный перформанс.

Не прошло и четырёх минут, как алкомарафонец Гаврил Захарович уже был на месте тайного схрона, ловко, как спецгент, извлекая из-под старой крышки две заветные бутылки. Душа, однако, требовала жеста. Широкого, щедрого, спонтанного — чтобы оправдать своё вне-

запное бегство перед пассажирами ждущего автобуса не жаждой алкоголя, а чем-то более возвышенным, якобы забытым подарком для свояка. Его взгляд, блуждающий в поисках вдохновения по хозяйству, упал на чучело глухаря на веранде. Оно ютилось на верхней полке, рядом с пасхальным набором 1984 года и стопкой журналов «Здоровье». Как, когда и зачем оно здесь оказалось — было тайной, покрытой мраком пыли слоем в добрый миллиметр. Чучело глухаря когда-то тысячу лет назад выполненное каким-то местным мастером, забытое, подаренное, передаренное и снова забытое. Кем, когда и как именно оно попало в дом, не помнили ни хозяйева, ни кто бы то ни было. Лиля Васильевна утверждала, что его подсунул её двоюродный дядя после ремонта, «чтобы не пропадало». Гаврила же клялся, что это трофей соседа-охотника, отданный в счёт карточного долга. Сосед, впрочем, три года как переехал в Красноярск, а дядя уверенно путал глухаря с павлином. Так что птица была безродной, вечной, как мамонт. Время обращалось с ней без малейшего пиетета: часть перьев на брюхе облезла, обнажив жалкую тряпичную плоть; хвост, когда-то гордый веер, напоминал обтрёпанную метлу; но главным было лицо, вернее, морда. Кривоватый клюв придавал выражение идиотской надменности, а стеклянные глаза, посаженные пьяным таксидермистом, смотрели в разные стороны: один — на Гаврилу Захаровича, второй — на бутылку «Абазинской бормотухи». С довольной ухмылкой.

И тут Гаврилу Захаровича осенило. Он подарит это чудо Сваяку! «Не киснуть же добру!» — подумал он и, придав лицу выражение олимпийского спокойствия, на махнув пару стопок для храбрости, снова понёсся к остановке. Ведь Сваяк ценит старину и природу, у него на даче висит коса времён Бородинской битвы и стоит нерабочий кассетный магнитофон «Электроника». Глухарь станет жемчужиной его коллекции! Мысль была настолько блестящей, что Гаврила, не раздумывая, схватил глухаря. Прикосновение к чучелу вызвало облако вековой пыли, от которого он чихнул три раза подряд. Птица оказалась на удивление лёгкой и хрупкой. Облезлый хвост зацепился за рамку с фотографией, но Гаврила рванул его с решимостью коровы Апрельки, съедающей соседскую капусту. Глухарь был освобождён из плена пыли. Обратный путь к автобусу занял считанные минуты. Всё это время Гаврила Захарович репетировал речь вручения: «Вот, дарю тебе частицу нашей истории... Местный мастер... Глубокий символизм...» Он уже видел глаза Сваяка, полные благодарности.

Лиля Васильевна тем временем запугав пассажиров автобуса своим взъерошенным видом, оправдательно вздыхала на возгласы недовольных и уже опаздывающих по своим делам людей: «Извините, это не он автобус задерживает, это автобус его задерживает — он же у нас главный по проверке терпения пассажиров! Вот стоит, считает, сколько человек мысленно его прокляли, а как достигнет критической массы — сразу поедет! Ну или он просто забыл, куда собирался: то ли в автобус зайти, то ли из него выйти, то ли вообще не его маршрут, но он стесняется признаться. А может, это социальный эксперимент — как долго водитель будет держать дверь открытой с повисшей в проходе и не жалеющей себя Лилей Васильевной, если старательно делать вид, что вот-вот найдёшь проездной в недрах чемодана? В общем, не переживайте, граждане пассажиры, ещё пара минут, и он либо сядет в этот автобус, либо мы все дружно решим, что он — неотъемлемая часть «Заречки», и поедет дальше. Спасибо за ответственность и понимание!»

И вдруг — БУМ! — на порог автобуса вваливается, красный как рак, но сияющий, будто пингвин на вершине своего успеха, — чуть косолапая, но с непоколебимым величием, Гаврил Захарович!

— Прости, дорогая, задержался... — тяжело дышит.

— Опять полихетия осложнённая дроботухой?! — грозно спрашивает Лиля Васильевна, сужая глаза до размеров бойниц.

— Да нет же! — хитро улыбается он и достаёт из-за пазухи бутылку. — Это я... минералку забыл! Надо же в дорогу пить что-то полезное!

Лиля Васильевна смотрит на бутылку, на мужа, на вторую бутылку, торчащую из кармана... и просто с тихим героизмом закрывает лицо ладонью. Маршрутка трогается, а Гаврил Захарович, довольный, как крокодил после удачной охоты, уже наливает «минералочку» в стаканчик и выдаёт умозаключение: «Настоящий мужчина всегда найдёт время для бутылки «минералочки» и догонит уезжающую жену. Главное — правильно расставить приоритеты!»

И вот, полные надежды и слегка придавленные локтями соседей, Гаврил Захарович и Лиля Васильевна устремились в его объятия, мечтая о том дне, когда наконец-то изобретут телепорт. Или хотя бы добавят ещё один автобус по маршруту Абаза – Абаза-заречная.

— Ну что, — ухмыльнулась Лиля Васильевна, — хорошее начало отпуска, да?

— Зато такое приключение в подарок и воспоминания в копилку, главное, чтобы обратный рейс мы тоже так весело не проспали, — фразёрствует Гаврил Захарович.

— Проси пардону у пассажиров! — запальчиво рецитирует Лиля Васильевна.

— Внимание, внимание, граждане Вселенной, жители диванов и герои кухонных сплетен! Сегодня, в этот великий день, который, кстати, вы могли пропустить, утонув в бесконечной рутине забот, Я, Великий и Ужасный Опоздунь, совершил невозможное! Я сделал ЭТО! Моя миссия завершена! Мои враги повержены! Мои носки наконец-то нашлись под кроватью! Торжествуйте, ибо: Я пережил фыркающий на всех чайник и не объявил войну будильнику. Я закончил проект всей моей жизни под названием «Абазинский Розлив», который тянул меня как студент сессию. Я доказал, что могу быть спортивным, даже если моя походка до сих пор состоит из скачков австралопитека. Пусть гремит салют из конфетти или хотя бы из крошек от печенья!

Пусть ликуют мои чемоданы и носки, которые наконец-то вдохнут прекрасный воздух свободной Кубани! Я стою на вершине своего успеха, как пингвин на айсберге — немного неуклюже, но с достоинством. Славьте меня! Гений, миллиардер, плейбой, филантроп... Ну ладно, хотя бы одно из этого.

— Ой сядь, успокойся уже, не паясничай! — обрывает поток красноречия жена.

Автобус «Мичурина – ГРП» плыл по асфальтовой реке, наполненный смешанными ароматами дешёвого одеколona «Шипр», «Тройной», вчерашней селёдки и тщетных надежд. В самом его нутре, на сиденье, отчаянно скрипящем под его нелёгкой ношей, восседал Дед-Никифор. Лик его излучал праведность, высеченную временем и, возможно, лёгким подпитием, а внутренний диалог, судя по его артикуляции, был громче рёва подержанного двигателя «ЛиАЗа». На груди поблёскивал массивный крест, размером с дверную ручку. Гаврила Захарович, титан подпольного употребления горячительных напитков и виртуоз маскировки под законопослушного пенсионера, пропустив Лилу Васильевну немного вперёд и втиснутый рядом с Дедом, уютно устроился, нервно потирая руки с видом человека, ожидающего не зарплату, а скорее конца света. Или, на худой конец, конца бутылки.

Пассажиры, которым не досталось сидячих мест, пессимиздели стоя в полупереполненном автобусе ЛиАЗ-677 маршрута «Мичурина» — этом реликте эпохи развитого социализма, который трясло так, будто он не ехал, а отчаянно пытался вытряхнуть из себя душу прямо на ходу. Сквозь стёкла, заляпанные грязью с художественной беспорядочностью абстракциониста, смутно проступал серый, как настроение понедельника, пейзаж проезжаемых улиц. А из динамиков, похожих на дуршлага, хрипело что-то среднее между «Ласковым маем» на последнем издыхании и помехами «Европы плюс», словно радио пыталось решить экзистенциальный вопрос: «Кто я?» В кармане Гаврилы зловеще позванивал хор стеклянных теноров, один баритон и пара сопрано, и потрепанный бумажный талончик, купленный один на двоих у кондуктора исключительно для камуфляжа — настоящий хозяйственник не стал бы так рисковать деньгами без крайней нужды.

Двери с пыхтением, достойным паровоза Черепановых, распахнулись, и в салон ввалилась рыжеволосая глыба в клетчатом домашнем халате, с лицом, будто высеченным из гра-

нита времён застоя и покрытым тонким слоем вечного недовольства. Её голосок пищал, как несмазанная дверная петля, а ухмылка намекала, будто она только что разгадала тайну Бермудского треугольника, но решила приберечь это знание до ближайшей проверки билетов. Её взгляд, острый как штопор, цеплялся за каждого пассажира, методично сортируя их по папкам внутреннего архива: «Наивные пенсионеры», «Хронические халявщики», «Особо опасные безбилетники». Она была не просто человек с тетрадкой. Она была рейнджером общественного транспорта, стражем билетной системы, последним бастионом финансовой дисциплины в этом хаотичном мире маршруток. На груди у неё красовалась просаленная верёвка, увешанная рулонами билетов всех мастей и годов выпуска — настоящая броня из бумаги. Удостоверение с гордой надписью «Контролёр» сияло, как орденская звезда. Её взгляд — холодный, как зимнее утро в неотапливаемом автобусе, — методично прощупывал каждого, ища слабинку, страх или спрятанную монетку.

Она резко подняла руку — жест, полный сакрального смысла. Не то здоровалась с паствой, не то вызывала духов бухгалтерского учёта. Но нет! Это был священный ритуал: «Граждане! Предъявите проездные документы!» — прозвучало так, будто она объявила всеобщую мобилизацию.

Салон мгновенно разделился на три неравные категории:

Честные Труженики, достававшие аккуратно сложенные талончики с гордостью человека, который не просто заплатил 50000 неденоминированных рублей, а внёс вклад в светлое будущее транспорта. Хитрые Приспособленцы, начинавшие лихорадочно шарить по карманам, делая вид, что билет «только что был здесь». Один даже пытался скрутить из газеты «Правда» подобие талона — авось прокатит под лозунгом «Правда — наша сила!». Третий делал вид, что крепко спит, издавая храп такой силы, что дребезжали стёкла — Гаврила Захарович с профессиональной завистью отметил мастерство. Отчаянные юмористы — с вызовом, достойным декабристов, заявляли: «А мне водитель сказал — сегодня проезд бесплатный! В честь Дня освобождения от уплаты!»

Контролёр, не моргнув глазом, доставала из кармана потрёпанную тетрадь — Книгу Скорби и Штрафов, и безбилетник начинал клясться, что «завтра точно купит два билета», но она лишь верещала с сарказмом, способным прорезать броню танка. Но ничто, даже явление этого транспортного мессии, не могло сбить священный настрой Гаврилы Захаровича на дегустацию. Он, как истинный сомелье, понимал: необходимо продержаться три остановки, но терпеть целые три остановки — удел слабаков и трезвенников! Он изогнулся в три погибели, пытаясь незаметно отхлебнуть «на пробу». Пришлось срочно активировать план «Буря в крышке»: бутылка — глубоко в рукав, лицо — утопить в воротнике. — Оплачивайте проезд! — рывкнула кондукторша Анна Васильевна. Гаврила Захарович, делая вид, что роняет кошелёк, ловко прижал бутылку коленом. Бутылка издала предательски звонкий «дзинь».

— Что это у вас там звякнуло? — насторожилась Анна Васильевна.

— Геморрой! — отрезал Гаврила с такой искренней болью, что мог бы играть в народном театре, демонстративно ёрзая. — Обострение! Знаете, после вчерашних... огурцов!

Кондукторша фыркнула и пошла дальше, а Гаврила, вытирая пот не от болезни, а от мастерства перевоплощения, разработал план «Чайная церемония» с термосом. Выбрав место между спящим дедом-Никифором, идеальная живая звукоизолирующая стена, да еще и с похрапыванием в качестве камертона и женой, погруженной в созерцание узоров на грязном стекле, Гаврила Захарович приступил к операции «Баланс устойчивости хронологического анализа тары». Первый глоток прошёл успешно. Но тут маршрутка, будто сговорившись с контролёром, резко затормозила, и драгоценное содержимое выплеснулось на Деда. Дед крикнул во сне и почесал мокрое место.

— Что-то случилось? — встрепелась Лиля Васильевна.

— Да нет, просто... чай горячий! — выдавил Гаврила, краснея.

На третьей остановке в салон ввалилась знакомая фигура — Люда, главный эксперт по распознаванию спирта.

— Ой, Гаврила, а у тебя откуда такой... божественный аромат? — принялась она, расширяя ноздри.

— Это... лекарство для дёсен! С хвоей! Врач прописал от геморроя ротовой полости! — запаниковал он, перестаравшись с оправданиями.

— Ага, — скептически протянула Люда, — и бутылка у тебя в рукаве тоже для дёсен? В этот момент термос, не выдержав лжи, с громким лязгом выпал и покатился по полу, оставляя алкогольный шлейф. Дед приоткрыл правый глаз.

— Всё, мы уже выходим! — рывкнул Гаврила и совершил отчаянный манёвр: выскочил на улицу через заднюю дверь, чуть не угодив под «Волгу», забежал вокруг автобуса и зашёл обратно через переднюю! Он прильнул к грязному окну и наблюдал, как Люда, выскочившая за ним, недоумённо разводит руками: человек испарился! Кондукторша Анна Васильевна, наблюдавшая эту сюрреалистичную картину, лишь тяжело вздохнула и дала команду ехать. Двух геморройно-язвенных невидимок с термосами её психика бы не выдержала.

Гаврил Захарович, едва отдышавшись, ждал допроса.

— Опять налакался? — Лилия Васильевна стояла руки в боки.

— Да я... витамины принимал! На спирту! В журнале «Rider's Digest» вычитал! Для общего тонуса и борьбы с осенней хандрой общественного транспорта!

Она вздохнула так, что в салоне стало легче дышать, и махнула рукой. Гаврила понял — в следующий раз нужна справка о хронической нехватке витамина «C₂H₅OH».

Оглядев пол в поисках термоса-предателя, он с изумлением обнаружил его — уже пустым до блеска — в руках у Нины Васильевны, тихой, скромной женщины с сумкой-авоськой. Она сумела залпом осушить всё содержимое, пока Гаврила совершал марафон вокруг автобуса. Поймав его взгляд, она многозначительно подмигнула: «В следующий раз берите термос побольше. И мне, и себе. А то на всех не хватает ваших... витаминов». И растворилась в толпе, унося тайну своей невероятной ловкости.

Через пять минут всё было кончено. Контролёр, сверкнув тетрадью как мечом правосудия, растворилась в толпе, оставляя лёгкий осадок справедливости и запах дешёвой помады. Автобус, вздохнув всей ржавой обшивкой, поплыл дальше. Ведь жизнь — это дорога. А дорога, как известно, стоит ровно 50000 неденоминированных рублей. Или одной бутылки в рукаве, если ты — Гаврила Захарович.

Слава Богу, пронесло — внезапно ожил спящий Дед, как оказалось, опытный рецидивист-безбилетник. Дед-Никифор крикнул, укоризненно глядя на уходящую кондукторшу: «Ох, батюшки-Светы, опять сребролюбие душит! Черти, вот они кто, в человеческом обличье! Прямо тут, в автобусе, как при Сатане в канцелярии!»

Гаврила Захарович вздрогнул. Тема чертей — опасная территория.

— Черти, дедушка? В этом вот... металлическом саркофаге на колёсах? Это просто антропологический феномен человеческой жадности! Черти — архаичный конструкт для объяснения эгоизма!

Дед Никифор, уверившись в аудитории, пригубив из невесть откуда взявшихся припасов Гаврилы: «Конструкт, говоришь? А ну как объяснишь, откуда берётся вот эта вот?!» — он ткнул пальцем в мужика, пытавшегося незаметно снять с чужой сумки яблоко. — «Искушение! Черт напелтал! Материализовался в искре моторной!»

В мозгу Гаврилы произошёл сбой. Атеистическая броня дала трещину, и полезли аргументы. Убедительные. Опасные. Подогретый спиртным, Гаврила заговорил, как лектор: «Возьмём антропный принцип космологии! Вселенная тонко настроена для существования жизни! Как будто кто-то скрупулёзный выставил настройки на космологическом пульте! Это же очевидный аргумент в пользу Высшего Разума!»

Пауза. Автобус подпрыгнул на кочке. Гаврила очнулся: «Это чистой воды телеология! Мы просто наблюдаем ту вселенную, которая смогла нас породить! Бога тут нет!» Дед Никифор хитро прищурился, глотнул ещё: «Дизайнер, говоришь? Ну точно — Господь-Творец! А коли Творец есть, значит, и черти есть! Иерархия! Порядок! Как в армии — генерал есть, значит, и деда в гарнизоне найдутся! Кто ж искушать-то будет? Без оппозиции — какая драма?» Логика Деда, как ржавый гвоздь, зацепила Гаврилу: «Проблема зла! Если Бог всемогущ и всеблаг, откуда зло? Либо зло — необходимая часть плана для закалки души! И кто лучше справится с ролью искушителя, чем сам человек, тестирующий натуру на слабости! Их существование логически вытекает из необходимости свободной воли!»

Тут Дед Никифор ловко стащил с сиденья соседа газету «Рыбак-Рыбака» и сунул под ногу. Гаврила (язвительно): «Вот, к примеру! Вы сейчас присвоили чужое имущество! Не по-божески! Или чертик в вас сидит, подначивает?»

Дед Никифор, ничуть не смутившись, осеняя газету крестом: «Ох, сынок, не суди! Газета-то мирская, пустая. А я её... освящаю! Чтоб не искушала других! Жертвую своим покоем! Это духовный подвиг!»

Гаврила смотрел с ужасом перед такой казуистикой. Его железные аргументы рассыпались под напором святой наглости. «Подвиг? Ха! Классическая рационализация! Когнитивный диссонанс! Ваш поступок — лучший аргумент против реального сдерживающего влияния религиозных догм! Если бы черти были реальны, и Бог реально карал, вы бы так не рисковали!»

Но Дед Никифор уже не слушал. Он увидел, как у выходящей женщины выпала пятидесятипятитысячная купюра, и молниеносно прикрыл её ногой. Подмигнув Гавриле, он прошептал: «Видишь, сынок? Искушение! Черт подсунул! Но я крепок! Сам не возьму! А купюра... пусть сиротке на хлебушек достанется, а я передам. Все по Промыслу!»

Гаврила Захарович устался на потолок автобуса. В его голове бушевал ураган. Антропный принцип, проблема зла, необходимость чертей, эмпирическое наблюдение греха... Каждый аргумент в пользу Высших сил казался неотразимым, когда он его произносил. Каждое его опровержение было логично и убийственно. Бог возникал из тонкой настройки вселенной и тут же растворялся в дыму вероятности. Черти материализовывались в искушениях и тут же развенчивались циничной наглостью Деда. «То есть... круг доказательств. Замкнутый. Бессмысленный. Бог есть, потому что вселенная сложна. Бога нет, потому что сложность могла возникнуть сама. Вера Деда — фикция, а мои аргументы — мыльный пузырь интеллектуального тщеславия. Мы оба едем в этом автобусе. Где здесь истина? На остановке «Центральный Рынок»?»

Автобус резко затормозил. Дед Никифор, не теряя ни секунды, схватил «освящённую» газету и ринулся к выходу с причитаниями: «Прости, Господи, толкотню! Бес попутал торопиться!». Он исчез, унося и крест, и газету, и неразрешимый парадокс. Гаврила остался сидеть. Он достал кошелек, чтобы заплатить. «Бог есть», — подумал он, доставая деньги. «Нет, всё же нет», — глядя на купюры поправил он себя, отсчитывая деньги обратно в кошелек. «Хотя равновесие справедливости... с такими дедами... точно должно существовать. Или нет?». Автобус тронулся. Теологическая дуэль завершилась. Победила неопределенность. Как и всегда.

Простым труженикам было не понять этого чувства долгожданного отпуска. И даже если что-то пошло не по плану, ты всё равно чувствуешь себя победителем. Потому что, в конце концов, не каждый день случается то, ради чего можно было переживать, нервничать и считать дни на календаре, зачёркивая их с садистским удовольствием. А теперь — вперёд, отмечать! Хоть скромно, хоть эпично. Главное, с чувством, с толком, с остановкой на остановке с туалетом и с осознанием того, что любое путешествие, как и хорошая философия, ценится не пунктом назначения, а степенью готовности неожиданностям по дороге к нему и объёмом выпитой «минералочки».

Глава 3. Надежда Сергеевна - фея билетов и королева вежливых подколов

Мысли о существовании Бога, его загадочных концепциях и этом вечном, казалось бы, несправедливом отношении к простым людям – все это не давало покоя Гавриле Захаровичу. Диалог с дедом – Никифором – висел в воздухе тягучей незавершенностью. Щемило в груди, накатывало непреодолимое желание – выпить бы сейчас, да продолжить этот важный разговор, докопаться до сути. Но судьба распорядилась иначе. Городской автобус, скрежеща тормозами, привез его на автовокзал, откуда предстояла муторная пересадка на еще более долгий и пыльный маршрут до самого Абакана.

И вот, добравшись до автостанции в Абазе, покрытый слоем дорожной пыли и с навязчивой мыслью «а может, ну его, этот отпуск...», Гаврила Захарович осознал жестокую правду: самое сложное путешествие – это даже не тряска в душном автобусе до самой станции, а финальный бросок – дорога до заветного окошка кассы. Требовалось совершить акробатический кульбит, прорваться сквозь человеческое месиво к кассовому окошку автовокзала, а потом, с пересадкой – либо втиснуться, как сардина, в маршрутку между бабушкой, обвешанной авоськами, и мужиком, от которого пахло тайгой, дегтем и чем-то очень крепким, либо же в автобус, который, если боги логистики вдруг смилоостивятся, всё-таки довезёт тебя до Абакана. А ежели не довезёт? Ну что ж, значит, судьба милостиво дарит шанс завести новые, душевные знакомства среди коренных жителей с.Аскиз, которые лишь с пониманием кивнут и скажут что-то утешительное вроде: «тасхар чылыг, хыймыранарга».

Гаврил Захарович и его верная спутница Лиля Васильевна, хоть и считались в своем кругу «путешественниками от бога», на вокзалах бывали крайне редко – видимо, божественный статус предполагал иные способы передвижения. Автостанция же в Абазе вела себя как капризная невеста: вечно переезжала с места на место. То ли никак не могла найти себе подходящего пристанища, то ли не могла определиться с жизненными приоритетами, то ли просто мастерски пряталась от назойливых пассажиров. Частенько случалось, что человек приезжал на указанное в старом расписании место, а там – пусто. Лишь призрачная память об исчезнувшем вокзале. А вот и нынешнее её воплощение: свежеевыкрашенный в какой-то «бодрящий салатовый» (цвет, явно выигранный в лотерею «Угадай, что осталось на складе») фасад. Новенькие пластиковые окна, уже успевшие покрыться благородной патиной дорожной пыли и украшенные отпечатками любопытных носов. Над входом – выцветшая, выгоревшая на солнце вывеска «АВТОВОКЗАЛ», под которой ритмично мигает сигнализация, создавая для усталых глаз эффект трехкопеечного стробоскопа. Под ней же, скромненько, как записка на холодильнике, – режим работы, сокращенно «пн-пт». Видимо, муниципальный бюджет иссяк на цифрах, и часы работы были наклеены на обычной бумажке с надписью от руки, сделанной явно не каллиграфом.

Зал Ожидания автостанции в Абазе – это истинное Царство Контрастов.

Пол: Идеальная, холодящая душу и пятки даже сквозь подметки, плитка «под мрамор». Идеальная ровно до появления первой лужи от растаявшего снега с валенок бабы Шуры, моментально превращающей пространство в экстремальный трек для фигурного катания с авоськами.

Скамейки: Подлинная дань истории и экологии! Настоящие, душевные, деревянные реликвии. Не просто деревянные, а с характером, с историей. Каждая доска – хранительница памяти о поколениях сельских задниц, вырезанных формул любви «Мурзик forever», констатирующих изречений «Здесь был Зюзя», щедрых порций заноз для незадачливых пассажиров в летних шортах. И всё это великолепие покрыто толстыми, нахлестывающимися друг на друга

слоями краски, в зависимости от года, настроения маляра и актуального «тренда» окрашивания общественных мест. В общем, когда встал вопрос о ремонте и выборе стиля из всех известных в Абазе: Минимализм, Хайтек, Хрен с ним и пусть так, был выбран последний эко-стиль. В его самом... аутентичном понимании.

Стены: Верх – местами свежая, обнадеживающая побелка. Низ – благородная «дорожная патина» на уровне багажа и грязных сапог, въевшаяся намертво. Проплешины, где не хватило ни краски, ни побелки, завешаны плакатами о безопасности движения и видами рекламы, неактуальной для местных жителей уже лет пять.

Урна: Единственная, футуристического дизайна (напоминающая троглодита, отчаянно пытающегося откусить тебе руку вместе с мусором, который ты нерешительно к нему тянешь), в которую почему-то никто не решается бросить мусор. Видимо, слишком эстетично и страшновато.

Сердце Системы – кассовое окошко: новенькое, с современным слотом для денег/документов и толстенным, будто в банке, бронированным стеклом. Создавалось явно с расчетом на продажу билетов прямиком в зону боевых действий. Динамик-Призрак – звезда антуража и предмет местной гордости, аккуратно вмонтированный рядом с окошком, стильный, серьезный... И немой как рыба. Висит себе, создавая видимость цивилизации и прогресса. Видимо, его «евроустановка» была столь сложна, что подключить благополучно забыли, или он сразу по прибытии понял бессмысленность своей акустической миссии в этих стенах. Казалось бы, банальность – Туалет. Святая Святых! Но дверь украшает не просто табличка, а целый иконостас из объявлений: «НЕ РАБОТАЕТ», «РЕМОНТ», «не курить!», «не входить». Европейский унитаз (несбыточная мечта провинциала!) виднеется в проеме, как Святой Грааль. Но войти нельзя. Никогда. Это не туалет, это – монумент несбывшимся надеждам и вечному «ремонту», памятник муниципальной безысходности. Запах, однако, ненавязчиво, но настойчиво напоминает о его теоретическом назначении, мастерски смешиваясь с ароматами пыли, недорогой махорки и подгорелых пирожков из ларька напротив. Расписание: творение импровизации – написано от руки на альбомном листе, приклеенное поверх старого, напечатанного, но безнадежно устаревшего. Главное – вера в чуткость водителя и вопросы, бросаемые ему вдогонку: «А в Таштып заезжаете? А в Аскизе стоять будем?».

Звуковой фон: помимо оперного крика кассира – плотный гул голосов, надрывный плач детей, статичное шипение неработающего телевизора в углу (служащего больше элементом того самого «евроремонта», чем источником информации), и мерное тиканье единственных настенных часов, традиционно отстающих на 15 минут. Освещение больше естественное, но по многочисленным просьбам трудящихся добавлено несколько ламп: половина мигает, как на подпольной дискотеке, половина просто не включена – видимо, тоже на ремонте.

Автостанция в Абазе с ее претензией на евроремонт – это как надеть лаковые штилеты на валенки. Сверху – блеск освоенного бюджета и несбывшихся надежд. Снизу – вечная, знакомая до боли, до слез реальность: кричащая Пиковая Дама, вечно закрытый сортир, скамейка, затаившая занозу для твоей пятой точки, и непоколебимая уверенность, что автобус может опоздать, а может и вовсе не приехать. Но душа-то у этого места – настоящая! Глубинная, русская, провинциальная. С занозой в самом сердце, с криком отчаяния и смехом сквозь слезы. Добро пожаловать в самое сердце, в пульсирующий нерв российской провинциальной транспортной инфраструктуры!

Жемчужина автовокзала, его главное украшение и живая душа, пуповина, связующая вас с пунктом назначения под названием «на ближайший до Абакана» – касса номер единственная. И за ней, словно дирижер этого хаотичного оркестра, восседала кассир-операционист Надежда Сергеевна. Если бы автовокзал был театром (а он им, несомненно, являлся, просто с более липкими сиденьями и специфическим антуражем), она бы играла главную роль – Феи Билетов с хрипотцой и вечной резиночкой для волос, красующейся на запястье.

Из-за перманентной технической накладки и вечно немого динамика, Надежда Сергеевна совершала ежедневный подвиг. Чтобы продать билет до Абакана, она ОРЕТ. Не говорила, не повышала голос – именно орала, пробиваясь сквозь бронестекло, гул толпы и собственное отчаяние. Ее крики «ТАШТЫП! ДВЕНАДЦАТЬ ТРИДЦАТЬ! БИЛЕТОВ НЕТ!» – это не просто объявления, это саундтрек вокзала, его живое, неоцифрованное, хриплое дыхание. Евро-ремонт столкнулся лоб в лоб с русским «временно так сделаем» – и победило, как водится, последнее.

Надежда Сергеевна за стеклом, слегка затуманенным конденсатом отчаяния пассажиров, – это был целый образ. Букет из темных, слегка кудрявых волос, будто их специально взъерошил легкий ветерок от проезжающих мимо автобусов. Они жили своей жизнью, эти волосы, как вольные духи бескрайних дорог. А на носу – маленькая, почти что неуловимая, но удивительно миловидная родинка. Такая трогательная, что невольно возникал вопрос: «А эта мушка у вас только в одну сторону? Или обратный билет ей тоже требуется?» Она, кстати, подмигивала пассажирам в такт стуку клавиш кассового аппарата, это было точно.

Но главное оружие Надежды Сергеевны – не эти вольные волосы и не обаятельная мушка. Оно раскрывалось в полной мере, когда вы, потный, нервный, скомканными купюрами в дрожащей руке, бормотали: «До Аскиза, пожалуйста, на ближайший». И она поднимала глаза. Глаза, знающие все тайны хаотичного расписания и бездну человеческой глупости. И... улыбалась. Улыбка добрая, теплая, но с хитринкой, как у кота, только что придумавшего новую, изощренную пакость. А потом звучал ГОЛОС.

О, этот голос! Нежное контральто, будто пропущенное через старую гитарную примочку «Хриплый Ангел». Слово она всю прошлую ночь напролет перепевала прошедший где-то фестиваль песни и танца под аккомпанемент гудящих в ночи моторов. И этот уникальный голос выдавал не просто фразы, а целые шедевры вежливого, почти изящного троллинга:

«До Аскиза? Отличный выбор! Там сейчас... (заглядывает в невидимый путеводитель, подмигивая родинкой) ... ветер перемен дует. И пыль. Очень много пыли. Счастливого пути!» Щелк-жужжж – билет вылетал, как выпущенная стрела.

«Паспорт? Обязательно! Без него как же я узнаю, что вы – это именно вы, а не ваш загадочный двойник, тайно едущий в Абакан инкогнито?» – вежливо протягивала руку, ловя документ с грацией фокусника, извлекающего кролика из шляпы.

Старушке, оплакивающей неподъемные цены: «Бабушка, вы же знаете, наши цены – как погода в Сибири. Только вниз они не спешат, в отличие от температуры за бортом. Но для вас у меня есть особый билетик у окошка – вид на... стену с рекламой о море и пальмах. Очень медитативно, успокаивает нервы!».

Молодому человеку, робко мечтающему о VIP-месте в первом ряду: «Ах, первый ряд? Мечтатель! Там вы будете ближе всех к водителю, сможете в деталях изучать его затылок на предмет скрытых водительских мыслей. Или кричать «Тормози!» на полсекунды раньше всех остальных. Экстрим включен в стоимость, бесплатный бонус!»

Она вежливо обилечивала всех подряд: и матерящихся, как сапожники, дальнобойщиков, и плачущих первокурсниц, и назойливых отходников, и важных бизнесменов, нервно своряющих ее работу с котировками на бирже. Каждый уходил от окошка не только с билетом, но и с легким, странным ощущением, что его только что мягко, но уверенно обыграли в словесный пинг-понг. И всё было так мило, так ненавязчиво остроумно!

Очередь под ее чутким руководством таяла на глазах. Даже у тех, кто изначально настроился поругаться и ПО выяснять отношения с миром, после минутного общения с Надеждой Сергеевной весь боевой пыл куда-то испарялся.

Гаврил Захарович, неподвижный монумент терпения в этой очереди за билетами на Абакан, чувствовал, как душа его требует срочного подкрепления куда более веселого и согревающего, чем этот театрально-автовокзальный туризм. Рядом маячила бдительная супруга, Лиля

Васильевна, орлиным взором выискивающая малейший намек на безобразие или отклонение от курса. Но Гаврил Захарович был из многодетной семьи и не самым робким ее членом! Словно опытный агент под прикрытием на самой вражьей территории, он внезапно замер, изобразив глубокий, почти научный интерес к потолку, где висела люстра, явно помнившая еще революционные вихри 1905 года. Левой рукой, не отводя пристального взгляда от запыленного стекла плафона, он совершил ювелирный маневр: ладонь плавно скользнула в карман старенького, верного драпового пальто, нащупала там теплый, родной, спасительный фуфырик «Абазинской бормотухи», выкрутила крышечку с тишиной, достойной взломщика сейфов мирового класса, и – глоток! Быстрый, точный, как змеиный бросок. Лицо Гаврила Захаровича осталось абсолютно бесстрастным, будто он не глотал огненную реку, а просто сдержанно зевнул. Только легкая, почти неощутимая дрожь в руке (списываемая на волнение перед кассой) и едва уловимое, запертое где-то глубоко в пищеводе «аж-ж-ж» выдавали совершенный подвиг. Он судорожно сунул флакон обратно в карман, как раскаленную картошку, и тут же принял озабоченно-деловитый вид, впиваясь взглядом в инструкцию на стене, будто в ней был зашифрован код от сейфа самих Ротшильдов. Главное – Лиля Васильевна не заметила! Хотя... ее едва заметная, ехидная ухмылка и взгляд, направленный куда-то в область его предательски оттопырившегося кармана, красноречиво намекали, что операция «Тайный Глоток» прошла с оглушительным успехом лишь в его собственном, уже изрядно подогретом, воображении.

Очередь – как хвост сказочного дракона, жаждущего удраить от уставшего героя, – неумолимо сокращалась. Надежда Сергеевна щелкала клавишами кассового аппарата с грацией концертного пианиста, но лицо ее становилось все серьезнее, сосредоточеннее. Родинка на носу выглядела вдруг не милой мушкой, а зловещей меткой. И вот она нажала последнюю кнопку... и вместо привычного звонкого щелчка раздался тихий, жалобный, обреченный писк аппарата. Билеты. Закончились. Всё. Тишина. Густая, тягучая, как автовокзальный чай третьей заварки. А потом – ВЗРЫВ. Возмущение! Топот! Вопли «Как же так?!» и «Я жду уже три часа, здесь, как идиот стою!». Хаос нарастал, как снежный ком.

Надежда Сергеевна встала. Ее темные кудри, казалось, напряглись и встали дыбом от ответственности момента. Она сделала глубокий вдох, и ее хрипловатый, натренированный годами голос, усиленный до предела, резанул толпу, как нож масло: «Уважаемые пассажиры!» – пауза, повисшая в воздухе тяжелее бронестекла. Все затихли, ожидая либо униженных извинений, либо вызова местного казачьего спецназа Зяблятского. – «Ситуация аховая, признаю честно. Автобус уперся в лимит мест, как самый честный человек – в собственную совесть. Но!» Она сделала паузу, драматичнее кульминации в античной трагедии. – «Но я не могу оставить вас в такой беде. У меня есть... эксклюзивное предложение!» Она окинула толпу взглядом полководца, готовящегося к последней, решающей битве. Родинка на носу подрагивала от вдохновения и адреналина. «Прямо за гаражом номер пять...» – ее голос стал низким, заговорщицким, будто она делилась величайшей тайной, – «... стоит наша запасная, экологически чистая транспортная единица. Телега. Да-да, вы не ослышались! Настоящая, деревянная, с историей! Кобыла наша, Малюта – неоднократный лауреат сельских бегов! Настоящий спринтер!»

Толпа остолбенела. Кто-то неуверенно хмыкнул, не веря своим ушам. «Предлагаю организовать экстренный рейс!» – продолжала Надежда Сергеевна с непоколебимой, почти церемониальной вежливостью. – «Места – без ограничений! Свежий воздух – включен в стоимость! Виды – панорамные, на все 360 градусов! Багажное отделение – сено, оно же и импровизированное сиденье! Особо нетерпеливым – прицеплена веревочка сзади, побегать можно, физкультура и правильное питание полезны для здоровья! Отправление – как только Малюта доест положенный овес и проникнется романтикой поездки в славный город Абакан!»

Тишина. Глубокая, всеобъемлющая. Потом – робкий, сдавленный смешок. Еще один. И вот уже вся очередь хохотала, покатываясь со смеху, живо представляя этот «комфортабельный экспресс».

Возмущение, злость, раздражение – все растворилось в хаосе внезапного, очищающего понимания и абсурда ситуации.

«Так что, уважаемые, – подвела итог Надежда Сергеевна, ее хрипловатый голос звучал теперь торжественно и победно, а родинка плясала от удовольствия, – кто готов к путешествию с ветерком... и легким, аутентичным ароматом сельской жизни? Записываемся? Первым десяти счастливчикам – по пучку душистого сена в подарок!»

И знаете что? Надежда Сергеевна снова всех победила. Пусть не билетами, так юмором, находчивостью и этим своим непотопляемым духом. Потому что она была – не просто кассир. Она – хранительница автовокзального спокойствия, фея вежливых подколов и последняя Надежда (простите за неизбежный каламбур) на то, что даже когда билеты кончились, а техника встала, выход всегда найдется. Найдется в ее неиссякаемой смекалке и умении превратить катастрофу в юмор.

Глава 4. Маршрутка Абаза–Абакан: хроники рейса с чемоданами, глухарем и похмельным героем.

Гаврил Захарович и Лилия Васильевна, словно два маршала, внезапно разжалованные в пешеходы, торжественно покинули здание автовокзала. Торжественность, впрочем, была чисто внешней, картонной – внутри у Лилии Васильевны уже вовсю разворачивалась паника, тягучая и вязкая, медленная, как автобус по весеннему бездорожью, но неумолимая. Билеты на поезд в Абакане уже ждали, часики тикали с издевательским равнодушием, а поезд, подлец, явно не собирался устраивать сеанс группового ожидания. Сегодня. Нужно было добраться СЕГОДНЯ. Мысли о рухнувшем отдыхе, обиженных тетушках и единственной за десятилетие попытке вырваться «хотя бы на недельку» от домашнего совхоза и вечно кипящих кастрюль солили атмосферу гуще и едче, чем селедка под шубой на прокисшем новогоднем столе.

Гаврил Захарович, чьи нервы были натянуты, как струна расстроенной балалайки на предпенсионном концерте сельского клуба, не выдержал. Стресс перевесил даже врожденную, годами выпестованную осторожность перед Лией Васильевной. С видом человека, решившегося на подвиг во имя спасения, он лихорадочно выхватил из сумки недопитую бутылку с какой-то темной, подозрительной жидкостью (остатки "лечебного" кваса из очереди на вокзале или коньяк храбрости? Подлинная история сего напитка) история умалчивает) и... влил в себя залпом. Залпом! Не чокаясь и не закусывая, на глазах у изумленной толпы. Это был жест отчаяния, немой крик души, вырвавшийся наружу лишь мысленно: "Ну вот так вот, Лиль! Все пропало!". Лилия Васильевна только ахнула – возмущенно, но бессильно – не до выговоров было, конец света ближе.

Отчаяние, смешанное с липким ужасом, охватило обоих, сжав горло. Перед их внутренним взором, как в дурном, заезженном киносеансе, поплыли жуткие образы. Главный злодей – ехидный Колька ГорЛовой, с его вечным, капающим ядом, "Съездили?". Его хихиканье сливалось в ужасный хор со всеми прочими соседями, воплощавшими торжество злорадства: "Ну, чо, как отпуск? Ха-ха-ха!" – доносилось из-за каждой ограды. "Как отдохнули?" – ядовито интересовались у колонки. "Чё-то вы быстро!" – смачно констатировали факт на лавочке у соседей. Мысль о возвращении домой под этот нескончаемый, язвительный аккорд была страшнее любой автовокзальной толкучки и пьяной драки вместе взятых.

В полной прострации, словно оглушенные, не зная, куда деваться от назойливо вертящихся в голове названий романа Александра Ивановича Герцена "Кто виноват?" и романа Николая Гавриловича Чернышевского "Что делать?" и от горьких, ударяющих молотом по вискам, сожалений "Надо было думать раньше!", они бесцельно вывалились на улицу.

Глоток свежего (ну, относительно, с примесью выхлопов) воздуха был необходим им, как кислородная маска при перДечном приступе в сельском туалете. Лица у обоих приобрели благородный, почти свекольный, бордовый оттенок. То ли от прилива кислорода после вокзальной духоты, то ли от давления, подскочившего до отметки "Абакан-не-виден-и-не-будет-виден". Сердца колотились с такой яростью, будто решили: "Хозяева не доедут? Ну и ладно! Мы сами рванем до Абакана пешком, благо ноги пока есть!". И уже начали мысленно прикидывать маршрут по проселкам и колдобинам.

Гаврил Захарович и Лилия Васильевна стояли у обочины, уныло созерцая безрадостную пустоту там, где должен был гордо красоваться их спасительный маршрутный автобус 240 «Абаза-Абакан». Лилия Васильевна уже начала мысленно составлять гневное, многостраничное, письмо в гортранс, а Гаврил Захарович – с тоской поглядывать на тайник в кармане, где притаился плоский, спасительный, флакончик с "минералкой" покрепче, манящей забвением.

И вот, когда казалось, что мир рухнул окончательно и бесповоротно, как карточный домик, судьба смилоствовала. И тут – о, чудо! – как аппетитные, крепкие, грибы после хорошего дождя, из-за поворота вынырнули сразу ТРИ частных маршрутика, битком набитых, как сельди в бочке, но гордо пыхтящих и готовых к бою! "О-о!" – выдохнула Лилия Васильевна, лицо ее просияло, как стоваттная лампочка Ильича в крошечной тьме. "Частники! Как же мы сразу не вспомнили про них, оканные, дубье старое!" – радостно гаркнул Гаврил Захарович, уже ощущая кожей, как спасительная маршрутка уносит их прочь от этого проклятого останочного плена в никуда. Эмоции переполняли! Раздался душераздирающий крик. Не просто крик, а спасительный клич, райская музыка для ушей Гаврила и Лилии: "Та-а-а-аштып, А-а-а-скиз, Абакан ЕДЕЕЕМ!". Звучало это, как глас архангела Гавриила или местного таксиста-спасителя в засаленной куртке, трубящего о долгожданном спасении. "ЕДЕМ!" – это слово затмило, смыло как волной, все предыдущие страхи, стыд и даже ехидный, навязчивый, смех Кольки ГорЛовова. Шарахающийся автобус нашелся! Надежда, пусть и на колесах сомнительной исправности, с подозрительным стуком в подвеске, махала им рукой из облака сизых выхлопных газов.

Один взгляд на это великолепное, почти мистическое, зрелище – и Гаврил Захарович, не дожидаясь посадки, с рыцарским и неожиданно ловким движением достал свою "заначку". "За спасение!" – буркнул он себе под нос, торжественно открутил крышечку и сделал такой основательный, глоток "лечебной минералки", что даже Лилия Васильевна, обычно ворчавшая по такому поводу до хрипоты, лишь махнула рукой: "Ладно уж, пей, герой транспортного фронта. Главное – доедем! А там хоть озолотись".

Частная маршрутка «Абаза-Абакан», которая собирает всех без разбору – от босоногого пяточка до запашистого свинарника, от мэра до воображаемого президента местного садового товарищества – непременно должна была ехать плотно забитой до отказа, как консервная банка шпротами, и желательно чтобы половина пассажиров еще подсаживали себе пассажиров на колени, попутно подбираемых в каждой проезжаемой деревушке, поскольку каждый не вошедший пассажир записывался водителем в непоправимые убытки, сравнимые с национальной катастрофой.

Гаврил Захарович и Лилия Васильевна скромно, но с относительным удобством расположились в углу маршрутки, придавленные четырьмя чемоданами размером с холодильник «Бирюса» старого образца. Незакрытый чемодан выдавал тайну экстренного сбора: из него торчал одинокий носок, пачка «Беломора», полосатая тельняшка, треники «три полоски» сомнительной свежести, и бутылки «Столичной» и «Абаканского», бережно обернутые в газету "Правда".

Итак, маршрутка уже на 85% состояла из:

- трёх бабушек с вязанием (на случай, если дорога затянется до второго пришествия);
- студента, втиснутого между запотевшим окном, чемоданом и сумками-челноками, набитыми до хруста домашними заготовками и родительскими наказами;
- деда Пети с небольшой болонкой под мышкой (она яростно против, но её мнение, как всегда, игнорировалось);

Но некоторые пассажиры выделялись особенно ярко, как пятна плесени на стене:

Если бы несчастье можно было пощупать (шершавое), понюхать (с кислинкой) и случайно сесть на него в междугороднем автобусе (и получить флюс на всю оставшуюся жизнь), то это, несомненно, была бы Валентина Михайловна Малакова.

Учительница математики СОШ 49, чей костюм цвета "Хроматография несварения" – горчично-болотного оттенка с нотками несвежей желчи – словно кричал: "Я не просто страдаю от жизни — я обязую страдать других, причем с применением формул!". Сама ткань была соткана не где-нибудь, а в адском цеху печали учеников, а затем выкрашена в оттенки хронического раздражения, многократно усиленного вечной проверкой тетрадей с квадратными

корнями из глупости. И все это великолепие зловеще обрамляла кайма. Черная. Как траурная лента, возложенная на свежую могилу ученических надежд на хороший аттестат. Она ползла по карманам, обшлагам и даже пуговицам – последние, кстати, тускло поблескивали, словно слепые глаза забытых интегралов. Завершал образ единственный аксессуар – брошь из фальшивого янтаря, в котором навеки застыла слезинка отличника.

Очки Валентины Михайловны – это не просто аксессуар, это антиквариат с богатой историей, достойный музейной витрины. Когда-то они были гордыми «очками для зрения», но годы, судьба и, вероятно, несколько падений со шкафа превратили их в объект насмешек постмодернизма.

Линзы, треснувшие, с одной стороны, создают эффект «разделенного взгляда на мир»: левым глазом Валентина Михайловна видит реальность, а правым – словно заглядывает в параллельную вселенную, где очки ещё целы. Оправа, пережившая не одно поколение учеников, держится исключительно на силе воли и двух витках медной проволоки.

Дужка, отчаянно цепляясь за ухо, напоминает альпиниста на последнем крюке: одно неловкое движение – и героический спуск на бетонный пол обеспечен. Но Валентина Михайловна не сдаётся! Она гордо несёт этот символ упрямства, будто говоря: «Молодые выбросили бы, а я ещё повоевать могу!»

И самое прекрасное – эти очки не просто носят, их переживают. Каждая царапина – как морщинка на лице: не дефект, а след жизни. Хотя, конечно, если присмотреться, можно заметить, что трещина на линзе идеально повторяет контуры её вечно недовольной брови. Совпадение? Не думаю.

Её прическа — "не доехавший стог" — была архитектурным чудом, будто её укладывали во время землетрясения, а потом ещё и проехали катком для пушей выразительности. Волосы — как у ехидны забыли, что такое расческа одни короче в других жвачка и сено как у старого козла в бороде. Волосы торчали во все стороны, словно пытались сбежать от хозяйки, но, увы, были прикованы к её голове лаками "Дешёвка" и "Отчаяние".

Чемодан Валентины Михайловны оклеенный газетой "Труд" (иронично, ведь Валентина Михайловна трудилась исключительно во имя всеобщего уныния), он скрипел, стонал и хрустел, будто внутри томились души не сдавших экзамен. На самом деле там лежала контрабанда советских учебников, которые она использовала не для просвещения, а для устрашения. "Вот по этим задачам учился ваш отец, а ты, даже дробь сложить не можешь при возведение в квадрат в корень!"

Истошная вонь исходящая от Валентины Михайловны перебивала даже ароматы дегустационного набора Гаврила Захаровича, тонким, но крайне въедливым напоминанием Корольей стайки вместо одеколona — аромат, который мог бы стать оружием массового поражения, если бы не его локальная концентрация вокруг сиденья 13. Пассажиры предпочитали дышать через рукав, но Валентина Михайловна и не думала смущаться. Она гордилась этим амбре, словно это был естественный отбор: кто выживет в её ауре — тот достоин сдать контрольную.

Её планы были чернее её мыслей, а мысли — чернее школьной доски после её лекции о "нынешней деградации образования". Она мечтала испортить аттестаты "неродивым ученикам", обрамляя их оценки в стиле "вот тебе гадкий, мерзкий человечиска, мои не поступили, и ты не поступишь" — то есть так, чтобы даже отличники чувствовали себя мерзким ничтожеством, порожденным Валентиной Михайловной.

Валентина Михайловна Малакова – это ходячий педагогический кошмар, сатира на систему образования, которая терпит подобное, и урок цинизма для учеников общеобразовательной школы. Она считает себя богиней математики, а на деле – его гротескный антипод. Дети ее боятся, родители ненавидят шепотом, коллеги сторонятся. Но она держится, как скала, уверенная в своей исключительной правоте и неоцененном таланте. Ее главное достижение? Воспитание поколения, уверенного, что "педагог" – это ругательство.

И вот она ехала в этом автобусе, словно злой гений математики, готовая обрушить на мир новую порцию страданий. А чемодан скрипел в такт её мыслям, будто шептал: "Скоро... скоро они все познают мою власть..."

Казалось бы, даже автобус страдал от одного только ее присутствия, но, вздыхая, вёз её дальше. Потому что даже транспортная система не решалась высадить её раньше времени.

Водитель – нестареющий Володя Харьков, чья жизненная философия звучала как призыв к вселенской компактности: «Если не влезли — подожмите ягодички! И не дышите глубоко минут пять!». С азартом искушенного фуражера, высматривал на каждой остановке потенциальных пассажиров, мысленно прикидывая их удельный вес и эластичность салона.

И тут его цепкий взгляд, как радар заблудшей души, выловил на обочине одиноко стоящую даму, облаченную в кипенно-белое одеяние. Речь шла о женщине, чьи эпические габариты местные остряки, скрепя сердце и сглатывая комок в горле, добродушно сравнивали с новеньким, только что с конвейера сошедшим элеватором – таким монументом сельхозпереработки. Даму, перед чьим величественным силуэтом трепетали амортизаторы и капитулировали даже самые вместительные седаны – другие водители, бледнея, отводили глаза и жали на газ, мысленно сверяясь, покрывает ли страховка такие нагрузки. Решение Володи созрело молниеносно – что-то среднее между подвигом и актом отъёма брошенной наживы, но с запахом безрассудного самоубийства. С грацией новогодней ёлки, которую везут в переполненном автобусе он виртуозно притормозил своего стального коня прямо перед ней, подняв такую тучу персти, что пролетавший мимо воробей откашлялся, чихнул и на мгновение, от ударившей в голову пыли, задумался о смене места жительства из-за сомнительной экологии.

– Заходите, красавица, места – как в царских палатах! «Хватит всем!» — залихватски прокричал Володя Харьков, одновременно нервно косившись на амортизаторы, которые под белым одеянием Насти внезапно сдулись от ужаса, издав тонкий предсмертный писк.

Настя Кираснова, могучий титан в человеческом обличье, совершила свой величественный шаг в салон. Маршрутка качнулась, закричала всем, чем только можно, и накренилась так резко, словно «Титаник» только что ощутил поцелуй айсберга где-то в районе ватерлинии. Пассажиры синхронно втянули животы до позвоночника, а пёсель деда Пети, маленький нервный комок шерсти, забился в истерике под сиденьем, требуя немедленной эвакуации и, возможно, сеанса у собачьего психотерапевта.

– Ой, простите, добрые люди! – озарила салон ослепительной улыбкой Настя, устраиваясь на месте, которое конструктор когда-то скромно рассчитал на пару тощих студентов и их кот в переноске.

– Вчера пирожков с капустой чуток перебрала. Ну, штук десять. С картошечкой.

Бабушка у окна, прижатая к стеклу щекой, неистово крестилась и шептала: «Это оно, родимые. Конец света приехал. Но хоть не пешком, слава Тебе, Господи...».

Студент, превратившийся наполовину в бесформенный баул под ее левым боком, пытался дышать через раз, мечтая о кислородной подушке и выпавшем зубе мудрости. Дед Петя, втиснутый своей болонкой-революционеркой в угол окна так, что та теперь напоминала пушистый барельеф, флегматично процедил сквозь щеку: «Зато, как говорится, в тесноте да в обиде, но хоть тепло. Прямо как у Шарика в будке. Только теснее и запахи... насыщеннее».

– Ну, держись, смертнички! Поехали! – Володя Харьков лихо дал газ, но маршрутка, надорвав мотор, тронулась со скоростью запыхавшейся улитки, героически тащащей на спине чемодан без колес. Сзади уже нервно сигналили гуси – важные, деловые птицы, которые тоже явно куда-то очень опаздывали, возможно, на переговоры с курицами.

Пассажиры, спрессованные в единый, слегка потный и дышащий на ладан организм, неожиданно обнаружили душевную близость. Начался стихийный обмен: бабушка в берете делилась рецептом огурцов с горчицей, мужик в кепке шептал сплетню про соседа, который

якобы разводит в ванной пираний, а Настя, уютно устроившись, давала советы по выпечке идеального бисквита. Салон гудел, как гигантский, перегруженный улей.

Маршрутка, подпрыгивая на кочках с энтузиазмом резинового мяча, брошенного гигантским ребенком в припадке злости, понеслась к следующей остановке. Она оставляла за собой не просто выхлопные газы, а целый невидимый, но ощутимый коктейль: шерсть болонки, потерявшей веру в прогулки, стойкий аромат сена, легкий, но назойливый запах капустных пирожков сомнительной свежести и последние крошки веры в чудеса общественного транспорта, вытрясенные из пассажиров вместе с мелочью.

Очередная остановка преподнесла новый "сюрприз" в лице двух дам. Их вид недвусмысленно кричал: "Срочно требуется сожитель за решеткой, опыт работы с дубинкой приветствуется!" Они уже энергично махали руками, явно собираясь ввалить в его салон всей мощью своего недоброжелательного естества. Амортизаторы тихо застонали в предчувствии неизбежного, как студент перед сессией.

"Ах, судьба-злодейка!" – мысленно воскликнул Гаврил Захарович, обменявшись красноречивым взглядом с Лилей Васильевной. Как же она обожает устраивать свои цирковые номера, скукоживая в одном автобусе поистине рекордную плотность не самого благоприятного генофонда Абазы, скажем так, слегка "ограниченными" психическими возможностями. Прямо-таки заповедник недалёкости в её естественной, хотя и весьма тесной, среде обитания! И вот в эпицентре этого благодатного очага идиотизма на квадратный метр, где уже восседала, словно пуп земли, Валентина Михайловна (источник всех сплетен и центр притяжения косых взглядов), уютно устроились две неразлучные фурии – Мария Сергеевна Купик и её тезка Мария Сергеевна Барбарисова. Их родители, видимо, обладали либо изысканным чувством черного юмора, либо редким даром предвидения, наградив дочерей именами, которые в благородной Абазе теоретически могли звучать как символы уважения... вот только сами носительницы этих прекрасных имен умудрились ассоциироваться исключительно с концентрированной злобой, патологической недоброжелательностью, запредельным неуважением, первоклассным хамством и наглостью космического масштаба. Говоря проще, даже в кругу закадычных собутыльников или сокамерников эти дамы кристаллом честности не блистали бы, и лучиков почета от окружающих не дождались бы даже под угрозой пытки горячими утюгами. Одна из этой дивной парочки "дарила" свое ледяное тепло и едкую заботу несчастным детям в садике с атмосферой, как в летнем лагере строгого режима. А вторая, видимо, для полного антуража, недолго, но ярко, как метеор над помойкой, отметилась на ниве государственной службы – и даже там, в цитадели терпимости к самым разным кадрам, её умудрились невзлюбить всем коллективом, включая сторожа и кипятильник. Вот такой вот патологический, желчный человеческий заповедник, любезно подаренный сегодняшним маршрутным автобусом! Гаврил Захарович мысленно поприветствовал новый отряд приматов, занявших свои места в салоне-вольере.

Мария Сергеевна Купик – это не просто попутчица Гаврилы Захаровича, а самый настоящий ураган педагогического беспредела, «незабываемая» ваятельница юных душ-воспитатель детского сада, причем исключительно в сложной, скажем так, "криминальной" форме. Она – живое, дышащее огнем вчерашнего отчаяния, олицетворение профессионального выгорания, щедро приправленное матерным шансоном из малобюджетного приемника и вечной, как ржавчина, обидой на мироздание за то, что она не королева.

Не обманывайтесь скромной должностью: Мария Сергеевна – это светило, нет, целая черная дыра нетрадиционной методики воспитания «сквозь зубы и крепкое словцо». Она свято убеждена, что ее двадцать лет в садике – это отнюдь не стагнация в луже макарон по-флотски, а «накопление уникального опыта», секреты которого не снились таким профанам, как Мария Монтессори (слишком нежная) или Януш Корчак (явно недожал). Ее педагогический девиз: «Я ж вам русским матерным языком объясняю, дебилы блин (слово «блин» неизменно произ-

носятся ею через Ъ-ять на конце!)» – считается в ее кругу (состоящем из нее самой) верхом дидактической изысканности.

Её общение с подопечными – это не диалог, а полномасштабный лингвистический перформанс. Забудьте про слащавые диминутивы вроде «ложечки», «ведерка» или «дочурки». Лексикон Марии Сергеевны – это интенсивный курс русского фольклора для самых маленьких, где мат – не досадная помеха, а краеугольный камень коммуникации. Увидела лужу? «Ну ты и криво-желтый, Сережа! Совсем, сопл-ять (опять же, через Ъ-ять!), рук нет?!». Ребенок капризничает над кашей? «Жри, падла, а то щас как ДАМ по голове!» – и это, разумеется, исключительно мотивация к здоровому питанию, а не всплеск ярости. Дети зашумели? «Заки-сните, твари мелкие, а то всех в угол, как щенков посажу!» – очевидная отсылка к Священному Писанию, ведь все мы «твари Божьи», плюс формирование навыков тихой игры.

Ее речь – это шедевр экспрессии, где местоимения замещаются крепчайшими существительными, а глаголы звучат так, будто их выдрали с корнем из самой грязной стройки века. Дети, прошедшие ее «заботу», к выпускному утреннику владеют ненормативной лексикой лучше иного острожника с большим сроком. Это она гордо именует «ранним развитием коммуникативных навыков в стрессовой среде», методично десакрализируя генитально-сексуальную тематику в крепчайших выражениях по батюшке и по матушке, с плавным переходом на англоязычные анально-фекальные аналоги и оскорбления рода до седьмого колена.

Мария Сергеевна Купик ненавидит свою работу с силой, сопоставимой разве что с гравитацией черной дыры. Каждое утро она вползает в садик, как зомби-педагог, источая ауру вселенской ненависти ко всему живому – детям, родителям, коллегам, мухе на окне – прикрываясь вечными «неполадками по-женски» и давлением. Утренники для нее – адская пытка плохой самодеятельностью: «Опять эти сопливые мартышки петь будут... Господи, когда этот балаган сгинет?». Рисование? «Опять красками весь стол заляпали, дебилы несмышленные!» – и это, по ее глубокому убеждению, строго по Выготскому – критический анализ детского творчества. Прогулка в слякоть? «Поскорей бы уже, бл* (традиционно через Ъ-ять!), снег пошел, замрите там все и не дышите, пока не замерзли!» Это, понятное дело, закаливание и формирование стальной выносливости. Единственный луч света в ее педагогическом царстве тьмы – мысль о скором выходном или мастерски симулированном больничном, где можно наконец «отдохнуть от этого ада».

Ирония судьбы в том, что Мария Сергеевна Купик свято, фанатично верит в свою педагогическую гениальность. Она – мученица системы, одинокая вершина методической мысли, затерянная среди архаичных бездарей от педагогики. Она высокомерно фыркает на «идиотские» методички: «Че они там в своем министерстве курят вместо чая?». Презрительно шипит о коллегах, которые «сюсюкаются» с детьми: «Дуры конченные! Они ж на шею сядут, сперва вам, потом родителям, потом государству – и всем нам пенсия грош!». На родительских собраниях она вещает с высоты своего «опыта», раздавая «ценные» советы, выкованные в горниле личного раздражения: «Ваш Ванечка – тормоз редкостный, дома больше по башке давайте, а не забивайте ему голову умными книжками!».

Родители молчат, как партизаны на допросе, – боятся, что их чадо попадет под горячую руку (и особенно язык) воспитательницы с еще большей силой. Парадоксальным образом Мария Сергеевна Купик регулярно светится в местной газете с душещипательными заметками о «тяжелой доле педагога», «современных невоспитанных хамах», любви к природе и детям, сопровождая это фотосессиями с редкими, вымученными, как зубная боль, улыбками рядом с малышами и подписями, от которых веет цинизмом: «Мои звездочки!», «Педагог от Бога», «Люблю свой неблагодарный, но такой родной труд!».

Заветная мечта Марии Сергеевны Купик – выиграть в лотерею баснословную сумму и сбежать туда, где нет детей вообще. В идеале – на необитаемый остров. Или, на худой конец, стать тюремным надзирателем – там, по ее мнению, публика «понятнее», да и дисциплина

строже. Жаль только, в родной Абазе тюрьмы нет. А пока ее фирменный педагогический клич, разносящийся по коридорам детского сада и наводящий ужас на малышей и тараканов, звучит так: «Что ж тебя мамаша в нужнике не утопила, когда родила, недоразумение ты этокое?!». Вот такая она, Мария Сергеевна – педагогический Чернобыль в юбке.

А вот истинный, неподдельный и, несомненно, объективный портрет Марии Сергеевны Купик навеки вписан в анналы группы "Почемучки" силами... ну, скажем так, ее юных подопечных. То есть, прозвучал-то стишок, конечно, из их невинных уст – это святое! – но вот шедевр этот материализовался, как водится, скорее всего, в недрах родительского комитета на третьей чашке кофе после обсуждения предстоящего утренника и срочной покупки картона. Или, быть может, его надиктовало коллективное бессознательное группы под влиянием запаха акварели и пластилина? А может, его сочинил заезжий шансонье, случайно услышавший, как Мария Сергеевна ставит звук "р"? Так или иначе, дети его блестяще озвучили, с придыханием и беззубыми улыбками, превратив скромные рифмы про "Тебе воздаст по мерзости твоей!" в неоспоримое доказательство ее педагогического гения. Ведь что может быть правдивее одического творчества, прошедшего фильтр детской непосредственности... и родительского желания отомстить? Главное – каблучки стучали ритмично, а стишок попал в массы. Педагогическое эхо гарантировано!

Одна нога — другой короче, и Глаз фанерою подбит, Сопля и шерсть торчит из носа, Усы, щетина и бронхит.

Ноги — две кривые шпалы, Голос — грубо-ржавый. Воспитка — словно бес ночной, Страшнее в Абазе и нет такой!

Всякий, встретив, прячет глаз, Чтоб не видеть эту мразь. Всегда орёт, как порось в тупике, И матом кроет всех подряд (детей).

Матом облажа детей

Но знай, уродина: пробьёт твой час — Придёт твой атлас смерти! Тебе воздаст по мерзости твоей

и по твоим успехам!

Иронией судьбы, подобранной, видимо, с засаленного пола самого бюджетного придорожного мотеля, рядом с Марией Сергеевной Купик сидела Мария Сергеевна Барбарисова она же Горлохвостова, ибо фамилии у нее менялись с легкостью носка после дождя. Халтура природы или даже, скорее, ее злобный каприз! Ошибка Царя все ведающего. Упущение Господне. Его педагогический эксперимент над человеческим терпением, который явно вышел из-под контроля. Полное отсутствие калокагатии – это еще мягко сказано; она была ее живым, дышащим перегаром и грошовым парфюмом, отрицанием.

Попутчица нашего скромного общежития на колесах была завсегдатай придорожных кафе самого сомнительного пошиба, где салат «Оливье» имеет отчетливый привкус мышиной возни. Голубоглазая нимфа, государственных учреждений, где ее сиплый вопль, требовавший немедленного пересчета копеечной ошибки, мог вызвать локальное землетрясение. Абазинская-Гетера, ибо ее подлинное имя, вне всякого сомнения, жирным черным маркером вписано в анналы позора и черные списки всех мало-мальски приличных компаний в радиусе даже не трех, а минимум пяти республик и трех областей. Оно наводило ужас на беззащитных и слабых и вызывало нервный тик у добродушных.

Ее глаза цвета ядовито-чистого антифриза – того самого, что гарантированно выведет из строя не только двигатель, но и добрые намерения. Они светились не просто меркантильным расчетом, а целым бизнес-планом по отжиму последней копейки у ближнего своего. И обидой. Вечной, вселенской, как ржавчина, обидой на всех, кто осмелился быть хоть чуточку счастливее, удачливее или просто не обладал ее уникальным даром превращать кислород в токсичные испарения. Овал ее лица настоящий бастион! Массивный, много повидавший (ско-

рее всего, летящие в него тухлые помидоры и угрозы выселения), с тонкими, но зловеще очерченными губами. Эти губы – извилистая линия фронта, вечно поджатая, готовая отразить любую попытку вежливости, культуры или просто человеческого тепла холодным презрением или слюнявой бранью.

Телосложением она напоминала худощавого гномика средних величин – вот первое впечатление. Но первый взгляд коварен! Ибо тут в игру вступал Нюанс. Грудь. Умудрившаяся обвиснуть с поистине трагическим усердием еще до тридцати, она достойно помещалась в скромный спичечный коробок (и то, если сильно придавить). Но соседствовала эта физическая скромность с таким размахом амбиций, таким монументальным самомнением, что ими можно было бы не только замостить Красную площадь, но и выложить орнамент «Апломб» до самого Садового кольца, с запасом на ту самую садовую дорожку к ее воображаемому особняку (который в ее воспаленном мозгу соседствовал с усадьбой какого-нибудь олигарха, случайно забывшего завещание). Эти амбиции, впрочем, имели вполне конкретное амбре: коктейль из самогона, вьевшегося сигаретного перегара, протухшей кильки и непременной, стойкой нотки первобытной, необузданной ненависти ко всему живому и не очень.

Абазинская-Гетера была не просто зла. Она была Маховиком Зла, раскрученным до предельных оборотов смазкой из обиды и зависти. Мнительная до паранойи, рессентиментальная и обидчивая до истерики, она могла годами, как гурман дорогой сыр, выдерживать в подполье своего сознания планы мести. За что? Да за все! За отсутствие внимания, которое она требовала, как дань, за то, что выбрали не ее, а выбрали *ту дуру*, за косой взгляд на других двадцатилетней давности. И когда план, наконец, исполнялся – мелкая пакость, анонимка, испорченная репутация – она ощущала себя Наполеоном при Аустерлице! Правда, Наполеоном слегка подвыпившим, спотыкающимся о собственное эго и громко требующим признания своего гения от ошарашенных соседей.

Скандал был ее стихией, ее кислородом, ее смыслом бытия, ее способом фотосинтеза. Малейший повод – очередь в туалет (где она, конечно, должна быть первой!), косой (по ее мнению) взгляд попутчика, недостаточно горячий чай (который она требовала бесплатно), крошка на сиденье – и вот уже иерихонская труба, сиплая от бесконечных сигарет и ночных «подвигов», взвивался до сопрано разъяренной цепной пилы, разрезая тишину бытия на мелкие, нервные кусочки.

Она не просто кричала. Она рычала, как загнанный в угол шакал, шипела, как перегретый утюг, фыркала, как взбешенный чёрный носорог, и неистово изрыгала потоки непристойностей, каждая из которых была отточена годами практики и произносилась с таким сладострастным смаком, что позавидовал бы автор Камасутры. Такт и культура обходили ее стороной за километр, как заминированное поле в зоне боевых действий. Ее «беседы» напоминали не просто танк на детской площадке, а танк с включенным глушителем и гусеницами, намертво вставшими на любимую куклу. А ее представления о личном пространстве других людей были столь же эфемерны, как ее шансы второй раз выйти замуж за хоть сколько-нибудь адекватного человека, которому она с истинно садистским удовольствием портила бы жизнь, день за днем, капля за каплей.

Курила так, будто лично заключала контракт с табачным концерном на выработку смога для всего федерального округа. Каждая затяжка была глубокой, осознанной, наполненной ненавистью к легким – своим и чужим. Пила Абазинская-Гетера с методичностью, самоотверженностью и даже неким подобием изыска опытного сомелье, только сомелье этот отчаянно искал не тонкие нотки букета, а потерянную совесть (если она у нее когда-то была) на дне стакана алкогольной бурды. Свою репутацию – эту сияющую корону женщины с предельно низкой социальной ответственностью и запредельным уровнем токсичности – она старательно, кропотливо, с юных лет, как заправский мастер, вытаскивала из самого грязного льда челове-

ческих пороков. Ее репутация предшествовала ей, как шлейф с самой настоящей городской помойки, усыпанной окурками и пустыми бутылками.

Беспринципное кверулянтство было ее спортом. Она могла годами судиться из-за сломанного замка на двери, требуя компенсации в размере годового бюджета небольшой страны. Ее склонность к похоти и разврату были столь же разнузданны и неоспоримы, как и байки о ее скандальных подвигах, передаваемые шепотом от соседа к соседу. Ходили легенды (и кто знает, может, они были правдой), что она в гостях могла не просто подбить младенца на мелкую кражу, но и научить его материться на трех языках. А ребенка постарше – не просто на похабную частушку, а на целый репертуар, способный покраснеть бывалого боцмана. Ее жизненное кредо, видимо, было выжжено раскаленным железом на единственной извилине, страдающей тяжелейшей формой алекситимии (неспособности понять свои и чужие чувства, кроме злобы): «Если не можешь впечатлить – ослепи наглостью. Не можешь очаровать – ошарашь по самые помидоры. Не можешь добиться – разрушь вдребезги, чтоб и другим неповадно было. И главное – запомни раз и навсегда, слышишь, НИКОГДА не молчи! Молчание – для дураков и покойников. Твой голос – твое оружие! Орудуй!»

Короче говоря, Абазинская-Гетера была не просто ходячей катастрофой в драных, прожженных сигаретами потертых джинсах. Она была квинтэссенцией токсичности, дистиллированным концентратом человеческой мерзости, упакованным в оболочку с голубыми, как яд, глазами. Вечным, навязчивым, вонючим предупреждением Гавриле Захаровичу (да и всем, несчастным путникам), что некоторые «попутчики» – это не приключения, душевные беседы или романтика дороги. Это – суровое, несправедливое, но неотвратимое наказание за неведомые, но, видимо, очень тяжкие грехи, совершенные в этой или прошлых жизнях. Узнать ее можно было за версту – задолго до того, как она появлялась в поле зрения. По густому шлейфу вонючих уцененных сигарет, по флюидам немывтого, вечного, всепоглощающего недовольства, витавшим вокруг нее, как мошकारа над болотом, и, конечно же, по громовому, сиплому голосу, требовавшему немедленно, сию секунду, убрать с *ее* полки чужую, но чертовски симпатичную (и явно дорогую) сумку. Ибо все лучшее, по ее непреложному убеждению, должно было принадлежать Абазинской-Гетере. Хотя бы на время пути.

Глядя на попутчиков, Гаврила Захаровича осенило: «Нет, демоны таки существуют! Вот же они, во плоти — то ли бесы, то ли души грешников, отпущенные на выходные, дабы напомнить мне, что рай — это когда они в другом автобусе». И так ясно стало, что без стакана высокоградусного «святого источника» эту поездку не пережить — разве что молиться, но Гаврил Захарович уже давно предпочитал лекарства, в эффективности которых не сомневался.

Глава 5. Старт Мастера Расслабухи и Великий Автобусный Марш-Бросок

Людей было столько, что, если бы автобус чихнул, вместо пассажиров из него вылетело бы 200 рублей мелочью и один проездной пенсионер. Воздух, густой от запаха махорки, мокрой овчины и кислых яблок, колыхался в такт ухабам на проселочной дороге. Гаврил Захарович, зажатый в самом углу, совершал это путешествие в компании не только Лили Васильевны, но и сувенира, который, казалось, сам выбрал эту маршрутку в качестве персонального филиала ада на колесах. Рядом, торжественно и нелепо, восседало его сокровище – чучело глухаря редкой, почти исчезнувшей породы.

Птица была в летнем, токующем оперении. Хвост, распушенный веером, хоть и потрепанный временем и молюю, все еще отдавал тусклым медным и бурым блеском, вызывая в памяти скорее павлина-мутанта, чем лесного жителя. На каждом повороте редкие, но упругие перья с легким, почти издевательским шелестом начинали щекотать носы ближайших пассажиров, будто глухарь и после смерти тренировал свои диверсионные навыки. Солидная Настя, одетая во все белое, гневно чихала, отворачиваясь, и уже трижды пожалела, что надела парадный костюм, а не скафандр. Мужичок в телогрейке морщился, отмахиваясь, как от назойливой мухи, но перья, словно самонаводящиеся, тут же возвращались к его носу. А Гаврил Захарович, крепко обнимая свою ношу за брюшко, лишь бессильно бормотал: «Потерпите, граждане, вот редкую птицу в зоопарк везем... Она ж достояние, хоть и кусачее, как моя бывшая теща!».

Но главной проблемой была не щекотка. При каждом торможении чучело, зафиксированное лишь в одной точке, совершало мерное кивание. И его тыльная часть, та самая «куриная жопа», аккуратная, обтянутая потускневшей кожей, откровенно упиралась то в лицо, то в нос Валентине Михайловне. Пассажиры косились на птицу с немим укором, отодвигаясь, насколько это было возможно во всеобщей давке. Казалось, мертвый глухарь задался целью лично познакомиться с каждым, причем выбрать для знакомства самые неподходящие моменты и части тела.

А глухарь, между тем, будто и не был давно мертв. Его стеклянный глаз, замутненный алкогольным амбре, был устремлен в гущу людей. И взгляд этот был исполнен странной, почти административной подозрительности. Он медленно скользил по потным, уставшим лицам, по узлам и котомкам, словно выискивая кого-то. Казалось, он не просто бездушный трофей, а ревизор, внезапно севший в автобус. Он «подозревал в пассажирах безбилетных зайцев». Его немое, пернатое неодобрение висело в воздухе плотнее табачного дыма. Когда кто-то громко чихал, глухарь вздрагивал всем корпусом, и перья его хвоста издавали такой свист, будто выпускают пар из перегретого котла. Люди невольно опускали глаза, проверяли билеты в карманах, чувствуя на себе этот пронзительный взгляд лесного надзирателя. А он, проклятый, все кивал и кивал, словно ставил каждому мысленную оценку в журнал учета грехов. Один раз даже показалось, что клюв его слегка приоткрылся, собираясь изречь приговор, но, к счастью, это была лишь игра тени и воображения перепуганной Марии Сергеевны.

Едва автобус, кряхтя, отполз от городской черты, как Гаврил Захарович решил, что отпуск – это не состояние души, а вид экстремального спорта. Начало забега ознаменовалось звонким побрякиванием. Не колокольчиком свободы, нет. Это звенела его походная лаборатория – сумка, набитая до отказа стеклянной тарой. Бутылки, банки, пузырьки – весь этот хрустальный оркестр исполнял симфонию под названием «Пора балдеть!». Содержимое – не просто самогон. Это был эпос. Настойка на подорожнике и одуванчиках? Есть! Отвар бессонницы, он же бессмертник с примесью смертника? Пожалуйста! Экстракт ягод, которые в природе не

растут, но отлично гонятся? Конечно! Гаврил Захарович не просто пил, он экспериментировал, как кросс-функциональный специалист на пороге открытия эликсира бессмертия.

Пока Гаврил Захарович ликовал, вливая в себя различные дозы алкогольного эпоса, его мочевого пузырь, наученный горьким опытом прошлых экспедиций, начал паниковать. «Опять?!» – кричали его перепуганные рецепторы. Гаврил Захарович заерзал. Сначала деликатно, как дама, попавшая на колючую подушку. Потом – с нарастающей амплитудой, напоминая попытку завести трактор «Беларусь» в сорокаградусный мороз. Лицо его, минуту назад сияющее от предвкушения травяного кайфа, исказила гримаса концентрации, достойная штангиста, взявшего вес втрое больше нормы. Давление в системе «Гаврил» достигло критической отметки. Пора было действовать! А глухарь, словно чувствуя момент слабости, тут же ткнул его клювом в щеку – мол, терпи, казак!

– Володь, родной! – голос Гаврил Захаровича прозвучал сдавленно, но с нотками неотложной мольбы. – Остановись, а? По требованию! Человеческий фактор!

Водитель Володя Харьков, мужчина с лицом, высеченным из гранита дорожных передряг, медленно повернул голову. Взгляд его, тяжелый, как чемодан без колесиков, упал на подпрыгивающего Гаврила. Мысленная калькуляция заняла секунды: скорость, ближайший кустик, выражение лица пассажира, напоминающее чайник перед самым свистом и... перспектива отмывать салон автобуса от ароматов «эксперимента 7». Расчет был безжалостен.

– Ладно... – проскрипел Володя, резко притормаживая у одинокого куста, выглядевшего как разведчик в тылу врага. – Только шустро! Мы не экскурсия! А чучело свое забирай, нечего ему тут одному над пассажирами надзирать!

Гаврил Захарович вылетел из автобуса со скоростью подорванного баллона, оставив за собой лишь легкий свист забывшей успокоиться банки и пару перьев от глухаря, которые тот, кажется, сбросил специально ему вслед – в знак презрения.

Поначалу возвращение Гаврила Захаровича было встречено снисходительными вздохами. Мол, с кем не бывает? Но отпуск Гаврил Захаровича был настроен словно его утренний заведенный будильник с неисправным выключателем. Через сорок минут, ровно столько, сколько требовалось экспериментальной смеси из корней лопуха и сливовых веток, чтобы дойти до пункта назначения, история повторилась. С той же суетой, тем же лицом-чайником. Глухарь встретил его возвращение деревянным скрипом, будто отсчитывая рецидивы. Володя Харьков застонал, но свернул к очередному спасительному кусту.

А на третий заход терпение лопнуло. Автобус взорвался: – Да сколько можно?! – завопила Купик Мария Сергеевна. – Это издевательство! – вторил студент, у которого самогон Гаврила перебивал запах вчерашнего перегара. – Мам, а дядя опять пописеть? – звонко поинтересовался ребенок, указывая пальцем. – Высаживайте его! На этой остановке! Пусть тут со своими корнями и сидит! – гремел общий хор. Возмущение витало в воздухе гуще, чем запах «травяного бальзама» из сумки Гаврила. И даже глухарь, казалось, выражал солидарность с народом, осуждающе распушив веер хвоста прямо в лицо проходящему мимо мужичку.

Гаврил Захарович, вернувшись после третьего забега, немного мокрый на коленках – ветерок подул не с той стороны, застал этот хор негодования. Он остановился в проходе, как монумент «Человеку, Не Умеющему Рассчитывать Дозу». Но Гаврил Захарович был не только экспериментатором, но и дипломатом. Он собрал в кулак всю свою учтивость, доставшуюся от прадеда-царского чиновника, и обвел возмущенных пассажиров виновато-очаровательной улыбкой.

– Братцы, простите немощь! – заверещал он, складывая ладони в мольбе. – Лекарство виновато! Ну, то есть... настойка! Эксперимент, понимаете ли, вышел с характером! Газированный! Обещаю – больше не побеспокою! Честное Гаврилово! А если что – вон, глухаря можете клювом меня долбануть в воспитательных целях!

Глухарь в ответ лишь блеснул стеклянным глазом, будто говоря: «Не впутывай меня в свои дела, я тут только за порядком слежу».

И, как ни в чем не бывало, Гаврил Захарович плюхнулся на свое место. Через пять минут он осторожно достал из сумки новую, еще не опробованную банку с мутной жидкостью и подозрительным стебельком. "Отпуск-то только начался..." – прошептал он себе под нос, уже предвкушая новые открытия и, конечно, новые переговоры с капитаном Володи у ближайшего кустика. Автобус покатило дальше, везя в своем нутре маленький, вежливый, вечно мочеиспускающийся и неисправимо оптимистичный хаос по имени Гаврил Захарович. Володя Харьков крепче сжал руль и мысленно прикидывал, где купить резиновые сапоги побольше.

Не прошло и получаса, как мочевого Гаврилы Захаровича вновь дал о себе знать, то ли от поспешного и не до конца слитого в прошлый раз, то ли от объёма выпитого. Лицо его налилось цветом борща, он судорожно сжимает колени. Лиля Васильевна смотрит на него, как на личного врага народа, прижимая к груди клетчатый чемодан. А глухарь, пользуясь моментом, накренился и снова проехался хвостом по лицу несчастной Валентины Михайловны – та лишь взвыла, но сил на новый скандал уже не было.

Гаврила Захарович, бледнея, хватает жену за рукав: – Васильевна, родненькая... ну капельку... Остановочку попроси... Ну хоть микроскопическую! Совсем припекло!

– Ганя! – Лиля Васильевна шипит сквозь зубы, не глядя. – Ты сейчас услышишь звук, похожий на хруст арбуза. Это не арбуз. Это будет твоя голова. И мой чемодан. Понял? Доедем до бабкиной деревни – там и будешь сливать свою галактику. А щас – сиди и не дыши в мою сторону. Ты и так всю салонную атмосферу испортил... "Коньячком согреться", он сказал! У тебя внутри сейчас не согрев, а термоядерный синтез!

Гаврила Захарович, икая на три октавы ниже: – Лиль! Ну я ж не... ик!.. не виноват! Природа! Мочевой... он у меня, как решето, с молоду! И газики... ой, точно еще и газики... Помнишь, на даче у Ленки, в семьдесят восьмом? Тот арбуз? Вот с тех пор... ик!.. и понеслась. А в автобусе трясет! Физику учила? Сила трения! Давление! Да еще и глухарь этот перьями мою поясницу щекошет – вообще с ума сойти!

Лиля Васильевна свирепо поворачивается к нему: – Физику? Я тебе щас устрою урок анатомии с помощью чемодана! "С молоду"! Ты только вчера орал, что у тебя печень титановая! А мочевого, видите ли, решето! Газики! Да у тебя там не газики, Гаврила, у тебя там цунами! И вся надежда только на сфинктер, который сейчас держится на честном слове и на моем взгляде!

Гаврила Захарович жалобно: – Ну, Лиля... Васильевна... ну пожааалуйста... Ну хоть на минуточку! Я быстро! Как пуля! Через окошко, если водитель не остановит! Я же... ик!.. культурный человек, я не могу прямо здесь! А глухарь, вон, свидетель – он за мной приглядит!

Лиля Васильевна с непередаваемой интонацией: – Культурный?! Культурный человек не превращает пассажирский автобус в передвижной сортир по своему личному расписанию! Культурный человек помнит, где его "газики" и "решето" перед тем, как вливать в себя поллитра "Абазинской бормотухи"! Сиди. Держи. Представляй пустыню Сахару. Или мой чемодан. На твой выбор. Следующая остановка – только через сорок минут. Или – гробовщик. Решай сам.

Гаврила Захарович стонет, закрывает глаза и начинает интенсивно трясти коленкой, будто пытаясь создать противодействие. Лиля Васильевна грозно поправляет чемодан на коленях, всем видом показывая, что он не просто багаж, а орудие возмездия. Рядом старушка крепится, косясь то на Гаврилу, то на глухаря, будто не решаясь, кто из них больший бес.

Гаврила Захарович шепотом, сквозь стиснутые зубы: – Васильевна... а если я... ну... тихонечко... в шляпу? Она же моя...

Лиля Васильевна спокойно, ледяным тоном: – Попробуй, Ганя. Просто попробуй. Тогда твоя шляпа станет твоим постоянным головным убором. Постоянным и... функциональным.

До конца поездки. А я сойду на следующей и скажу всем, что ты – самозванец, и я тебя впервые вижу. И глухаря этого забирай себе в адвокаты.

Гаврила Захарович тихо постанывает и начинает методично стучать лбом о спинку переднего сиденья, бормоча что-то о несправедливости мироздания и коварстве газированных напитков. Глухарь от каждого удара вздрагивает и съезжает чуть ниже, словно хочет спрятаться от позора, но лишь еще больше раскорячивает хвост посреди прохода. Лиля Васильевна смотрит в окно с видом победительницы, но в уголке ее глаза – смешинка.

Не успели пассажиры успокоить нервную систему, истерзанную бесконечными остановками на "пописать" для Гаврил Захаровича, который, кажется, функционирует исключительно на принципе сообщающихся сосудов: что влил, то и требует немедленного выхода, как случилась новая напасть – прямо на этой нервотрепке на колесах, питаемой исключительно стрессом от вышеупомянутых остановок! А глухарь, как истинный катализатор бедствий, при очередном ухабе съехал с насеста и завалился боком, перегородив проход и вынудив всех перешагивать через его бренное тело с проклятиями.

В салоне разразилась перепалка эпических масштабов. Валентина Михайловна, чей взгляд мог бы заморозить лаву, начала возмущаться, что в салоне нечем дышать, а дышать перегаром ей, знаете ли, категорически воспрещается! Ведь она едет в Дом профсоюзов на торжественное вручение почетного звания «Достойный учитель развития Абазы», подразумевая под этим, что этот факт автоматически наделяет ее правом на стерильный воздух альпийских лугов. Валентина Михайловна, по характеру готовая вырвать свое хоть у голодного льва, хоть у разъяренного тигра, с яростью неистового экскаватора начала протягивать руку ко ВСЕМ форточкам в салоне, грозясь вырвать их с корнем.

— Же-е-енщина-а-а! — протяжно, с трагическими вибрациями, произнесла Мария Сергеевна. Ее мастерство драматизма могло бы заткнуть за пояс не только лауреатов «Кинотавр» за лучшую роль умирающего опоссума, но и самого опоссума в его предсмертной агонии, которая как бы кричит: «Я бессмертна, но сегодня мне нужно все ваше внимание, немедленно и с придыханием!». Эта дама, чьи бицепсы намекали, что она запросто могла бы перенести маршрутку на себе до конечной, если водитель вдруг решит передохнуть, теперь изображала из себя хрупкий цветок, побитый не просто ураганом, а, как минимум, цунами с торнадо. Ее поза в тесном салоне – настоящий акт драматического бессилия: голова томно откинута на подголовник, будто она только что пережила не апокалипсис, а лично столкнулась с Судьбой в узком переулке и проиграла. Закутанная в шаль с мрачным узором «Memento Mori», она являла собой зрелище. Ее лицо – это был слой театрального грима: под глазами – тени насыщенного оттенка "я не спала всю ночь, а точнее, просто растерла тушь для пушего эффекта страдания"; щеки – неестественно фарфоровой бледности благодаря рассыпчатой пудре, которую она хватала в панике, как святую воду от вампиров. Ладонь, прижатая ко лбу, словно там пульсирует ядро от мини-Большого взрыва, а не абсолютно нормальное давление 120/80, которое фиксировал бы любой тонометр, не ослепший от ее пудры. Все это могло сойти за классическую театральную «смерть корабля «HMS Northumberland», попавшего в шторм», если бы не маленькая деталь: этой самой «смертельно слабой» рукой, час назад, она с легкостью профессионального грузчика втиснула в багажник чемодан таких размеров, что водитель даже пинать его боялся – вдруг он даст сдачу. И все это – не забывая при этом жадно запихивать в рот шоколадные трюфеля, по всей видимости, оставшиеся с детских утренников еще позапрошлого года. А глухарь, лежащий в проходе, являл собой идеальный символ ее страданий – такой же неподвижный, набитый трухой и с остекленевшим взглядом. Аромат трюфелей распространился по маршрутке быстрее, чем алкогольные испарения из термоса Гаврил Захаровича, и смешался с запахом нафталина от перьев глухаря в совершенно убойный коктейль.

Каждое движение её тела громогласно декларировало: "Я — хрупкий сосуд страданий, не трогайте меня, или рассыплюсь в прах прямо на ваших глазах, и вам потом всю жизнь

мучиться от угрызений совести!". Каждую кочку и ямку она встречала стоном такой силы, будто её трясло не из-за неровности рельефа местного значения, а в самом эпицентре десяти-балльного землетрясения. При этом ногами она упиралась в пол с такой уверенностью, что каблуки, казалось, вот-вот пробьют асфальт и достигнут магмы. Её «смертельный кашель», способный разбудить мертвых, моментально стихал, когда она с придыханием и сладким голосом рассказывала сидящей рядом Марии Сергеевне Барбарисовой (Абазинской-Гетере), как героически борется с "неизвестной вирусной инфекцией, вероятно, подхваченной от этого абсолютно ленивого, бестолкового и прокаженного поколения коллег". Она издавала стон, который звучал как помесь кошки, запертой в шкафу с енотом, скрипящей двери из Апрелькиного сарая и заводившегося мотоцикла "Урал". «Ой, шею наду-у-ует...» — шептала она, закатывая глаза под самые веки, и тут же, с рефлексамы самурая, ловила летящий с верхней полки рюкзак соседа, весивший как мешок картошки. Пассажиры пребывали в полном недоумении: то ли предложить ей валерьянки, то ли таблетку от давления, то ли попросить автограф — настолько убедительно она совмещала роль «умирающего опоссума» и «олимпийского атлета, готового переплыть Босфор ради скидки в 10%». А глухарь в проходе, словно ее персональный зритель из первого ряда, пялился стеклянным глазом прямо в потолок, будто оценивая качество игры.

А она тем временем, краем заплывших глаз, как настоящий режиссер, внимательно наблюдала за реакцией пассажиров, тихонько потирая ладошки от удовольствия своей оscar-носной игры в «жертву непогоды и людской жестокости».

Апофеозом этого спектакля стал термометр, "случайно" положенный на горячий термос с глинтвейном (который она, конечно же, везла "для качественного времяпровождения с подругой"). Шкала взлетела до цифр, при которых нормальный человек уже давно бы общался с ангелами, демонами и, возможно, лично с Гиппократом. Это не просто женщина. Это ипостась ипохондрии, мастер «антиэриксоновского гипноза», верховная жрица культа "Ой, мне так плохо, но Абазинская-Гетера говорит, что это точно не похмелье, а что-то экзотическое!". И всё это великолепие — под аккомпанемент вздохов, способных сдуть пыль с дальних полок: "Не беспокойтесь обо мне, я просто умру тихонько тут в углу... если, конечно, никто не предложит спагетти карбонара, поездку в Геленджик или хотя бы Настин пирожок с капустой".

И весь этот грандиозный перформанс — под аккомпанемент абсолютно здорового организма, который, будь он одушевлен, давно бы подал на хозяйку в международный суд за клевету и нанесение морального ущерба. Но кто сказал, что нельзя получить Нобелевку по медицине за "синдром выдуманного заболевания с элементами трагифарса"? Кажется, она уже мысленно репетирует благодарственную речь и выбирает платье для церемонии.

— Вы что, хотите, чтобы меня хондроз-о-ом продуло насквозь?! Закройте немедленно! — визгливо закончила она свою арию, тыча пальцем в злополучную форточку.

Страсти накалялись до предела белого каления. Салон резко разделился на два непримиримых лагеря: одним дуло, как в сибирской тундре, другим было душно, как в парилке бани после десятого захода. Но в открытую поддержать какую-либо сторону никто не рисковал, ибо и с той, и с другой стороны орудовали титаны педагогики, мастера словесных дуэлей, и ввязываться в их спор желания особого не возникало — страшно, да и учиться уже поздно. Глухарь же, будучи поднят чьей-то заботливой ногой и прислонен к сиденью, принял позу флегматичного судьи: голова чуть набок, глаз в толпу, хвост — как веер карточной колоды.

В какой-то момент побеждала "изболевшаяся" партия Марии Сергеевны, и форточку с грохотом захлопнули, словно крышку люка-лаза танка. В салоне наступила гробовая, звенящая тишина, нарушаемая лишь храпом спящего в углу студента и бульканьем в термосе Гаврилы. Даже глухарь, казалось, затаил дыхание, боясь нарушить этот хрупкий мир.

Внезапно, нарушая это благоговейное безмолвие затхлой передвижной гостиной, раздалось нечто неопишное. Нечто среднее между утренним клекотом петуха, лопнувшей камерой грузовика «БелАЗ» и звуком спускаемого воздуха из гигантской шины — протяжное, звенящее,

с придыханием и явным удовлетворением: "П-П-П-УУУК!" Гаврил Захарович, будто его ударило током внезапного озарения и бодрости, резко вскинулся, как пружина. Трясущимся перстом он тыкнул прямо в невинную Валентину Михайловну, как будто она и была источником этого акустического апокалипсиса:

— Ага! Вот оно, дело-то темное выходит! Там либо ктодохлый притаился, либо диверсант с газовой бомбой! Видимо, пошла на хитрость – громко, с видом Шерлока Холмса, заключил Гаврил Захарович, обращаясь к глухарю, как к своему доктору Ватсону. – Открыла окно, чтоб следы преступления замести, видать ванверу забыла! Пернатый свидетель, подтверди!

Глухарь от звуковой волны слегка покачнулся и клюнул носом воздух, что было немедленно истолковано как согласие.

— Да-да... — со знающим, много повидавшим видом закивал Гаврил Захарович, максимально убедительно отводя от себя все подозрения (которые висели в воздухе гуще его перегара), и сделал многозначительный жест глазами в сторону "почетного работника школьного образования". — Вот, стоило так жопу рвать, чтобы окно открыли?! - риторически вопрошал Гаврил Захарович, явно намекая на нечеловеческие усилия Марии Сергеевны по его закрытию.

— Вот она, хитрая! Добилась своего – громко, не унимался следопыт Захарович. — Теперь нас всех травят, как тараканов! Даже чучело и то позеленело!

— Все, шеф, тормози! Глазки до слез-ков режет! Прямо газ иприт, времен Первой мировой! – панически замахал руками Гаврил.

— Гаврил, сядь! – хватает его за рукав Лиля Васильевна, пытаясь утянуть в сиденье. – Тебе уже мерещится, старый дурак! - Покраснев от стыда за мужа до цвета пунцовой свеклы, прошептала Лиля Васильевна, отчаянно пытаясь сгладить ситуацию.

Но поздно. Водила уже ржал, как конь, пассажиры орали, обвиняя друг друга в биотерроризме и потравах, а Гаврил Захарович, вдохновлённый царившим хаосом, словно дирижер на пике формы, доставал из-под сиденья бутылку «Абаканского» – напитка, происхождение которого вызывало сомнения даже у местных знатоков:

— Граждане пассажиры! Выпьем за скорейшее раскрытие этого темного дела и обезвреживание диверсантки! За здоровье!

— Спрячь немедленно, опозорился уже! – Лиля Васильевна бьет его свернутой в трубочку газетой «Хакасия» по голове, как будто пытается забить гвоздь. – Ишь, чего удумал! При живой птице позориться! То есть, при мертвой!

В очередной раз маршрутка, скрежеща тормозами остановилась, но в этот раз уже никто особо не возмущался – все были слишком заняты жадным потреблением чистого воздуха, разборками и наблюдением за спектаклем. Глухарь, окончательно съехавший на пол, лежал поперек прохода, и каждый входящий-выходящий был вынужден перешагивать через него, чувствуя себя участником какого-то языческого ритуала.

После инцидента с газовой атакой, приписанной, естественно, Валентине Михайловне, форточку, разумеется, уже никто не закрывал. Воздух стал напоминать смесь степи, конюшни и демократичного самогона, но дышать стало возможнее. Однако, когда в очередной раз Гаврилу Захаровичу приспичило (видимо, нервное), на помощь пришел второй лагерь – "антифорточников" во главе с Марией Сергеевной.

Чуя возможность взять реванш, Мария Сергеевна демонстративно, с таким шумом, будто запускала дизельный двигатель, начала швыркать носом. И тут же – АПЧХИ! – чихнула с такой силой, что ее шаль взметнулась, как парус, а глухарь, стоящий неподалеку, контуженно опрокинулся на спину, задрав лапы к потолку. Совершенно случайно (конечно же, случайно!) облако соплей накрыло Валентину Михайловну и сидевшую рядом Настю. Гаврил Захарович, ловя момент как спасательный круг, не упустил возможности. Хлопая себя по ляжкам, как заправский зазывала, он заорал на весь салон, перекрывая хриплые песни Талькова, раздающиеся из динамиков:

— Братва! Мужики! Мы и так мало живем, а тут бабы нас изничтожить вознамерились! Это ж чистой воды биологическое оружие! Даже глухарь концы отдал – глядите, лежит кверху лапами! Надо срочно эвакуироваться, пока не поздно! Водила, стой! Мне противогаз надеть надо! Гражданскую оборону вспомнить!

— Гаврил, – шипела Лиля Васильевна, грозя пальцем, как школьная учительница хулигану, – Я тебе сейчас язык узлы завяжу намертво! Молчи!

Но Гаврил, вдохновленный идеей спасения человечества (или хотя бы салона маршрутки), уже колотил кулаком по корпусу автобуса, пытаясь докричаться до водителя сквозь гул двигателя и музыки:

— Водила! Шеф! Тормози экстренно! Уровень угрозы – "ультра-красный"! Мне средства индивидуальной защиты развернуть надо! И чучело реанимировать!

Водитель, чувствуя, что напряжение в салоне достигло критической массы, способной взорвать бензобак, в очередной раз вынужден был остановиться. Хорошо, что по пути как раз подвернулась запланированная остановка "Хан-Куль".

Строгая учительница математики Валентина Михайловна, ненавидящая всех и вся из Абазы-Заречной (особенно Гаврила и Марию Сергеевну), задалась риторическим вопросом, адресованным в пустоту, но невольно услышанным Гаврилой Захаровичем и, казалось, даже глухарем, который приподнял голову на звук: «Когда же мы уже, наконец, приедем? До каких пор терпеть этот цирк?!»

«А вы до дому потерпеть можете?» – на этот раз адресовала она свой вопрос, четко в цель, как снайпер Семён Данилович Номоконов, прямо Гавриле Захаровичу, сверкнув очками.

Гаврил Захарович, уже набравшись «храбрости» из горлышка, закусив огурцом прямо из газетной обертки и посолив его прямо во рту (авторский стиль кулинарной импровизации), бодро отрапортовал:

— До дому?! Это ж нам, милочка, на Кубань пять днѐв добираться! Там неделю отмокать, и потом обратно – еще пять днѐв! Не-е-ет... – не смогу до дому! Особенно после пятой бутылки! Физиология, понимаешь? Наука! Да и глухарь этот – он хоть и дохлый, а все нервы вымотал, будто живой! Всю дорогу клювом в печень тычет!

— Гаврил-а! – Лиля Васильевна закатила глаза так высоко, что, казалось, увидела ангелов на потолке маршрутки. – Ты хоть раз в жизни молчал? Хоть минуту? Хоть секунду?

Гаврил Захарович, подняв почти пустую бутылку как олимпийский факел, провозгласил на весь салон:

— Какого Бог дал, такого и терпите, граждане пассажиры! Обратите внимание на красоту нашей природы за окном! Вот оно – народное единство в действии! А я... я сейчас опять в кусты, внести свою лепту в удобрение родных просторов! И глухаря с собой возьму – в качестве санитарного инспектора!

Маршрутка, скрепя тормозами и смилившейся участью, остановилась у очередного куста. Гаврил Захарович вывалился наружу, поскользнулся на щедром "подарке" чьего-то коня, споткнулся о свой же чемодан и заорал, как раненый медведь:

— Васильевна! Это не туалет, это минное поле! Ловушка! Спасай мужика! И чучело спасай – оно за мной увязалось!

Когда маршрутка, наконец, тронулась в путь под хриплый, пробитый голос Высоцкого, Гаврил Захарович, изможденный борьбой со стихией и собственным мочевым пузырем, благополучно заснул грудью на своем чемодане, бормоча сквозь сон:

— Лиля Васильевна... а давай... как приедем... в ларечек заскочим... глухарю на корм... и «Абаканского» взять... для сугреву пернатому...

— Спи, милоч! – Лиля Васильевна, с облегчением вздохнув, накрыла его газетой, как венчиком салата оливье, чтобы не мозолил глаза. – Спи, пока не приехали. И глухаря своего забирай – пусть хоть во сне за порядком следит, а не за живыми людьми измывается.

Глава 6. Вокзальная пытка. Великая багажная эпопея Лили Васильевны, или Гаврил-на-Колесиках. Эпос в двух актах с промежуточным алкогольным антрактом.

Вот она, долгожданная кульминация автобусного путешествия – автобусная остановка у железнодорожного вокзала. От обилия пережитых приключений и накопленного раздражения физиономия Лили Васильевны выражает ту гремучую смесь стоицизма, ярости и бездонного отчаяния, которую могли бы изваять разве что древнегреческие мастера, если б им довелось везти на себе Гаврилу Захаровича через все круги транспортного ада. Добавьте к этому чучело глухаря, торчащее из-под её локтя с выражением крайней степени таксидермического недомогания на деревянной морде, — и вы получите скульптурную группу «Отчаяние и Птица».

Автобус, этот рычащий, дымящий металлический зверь, наконец-то, с громким плевком гидравлики и душераздирающим скрипом изношенных амортизаторов, извергает их наружу, будто нежелательный балласт. Первым на свет божий появляется багаж. Два монументальных чемодана, размером и весом напоминающие гранитные саркофаги фараонов, набитые до отказа не только продовольственными запасами в дорогу и ненужной тёплой одеждой на случай непредсказуемой кубанской погоды, но и, судя по гулкому стуку, несколькими увесистыми булыжниками для балласта. Следом, путаясь в собственных лапах и заваливаясь набок с грацией подстреленного дирижабля, вываливается ОН — чучело глухаря. Здоровенный, несуразный, с таким сосредоточенно-идиотским выражением стеклянных глаз, будто он силится вспомнить таблицу умножения, но безнадежно застрял на четвёрке. Глухарь — это не просто таксидермический экспонат, это почти член семьи, и вид у него сейчас такой, словно он сам не рад, что связался с этой экспедицией.

Лили Васильевна, эта несгибаемая скала, вытаскивает саркофаги одним мощным махом, как заправский портовый грузчик. Мускулы на её закалённых руках играют под тонким слоем запала и пота — это не фитнес-клуб, это суровая школа жизни с Гаврилой Захаровичем, отточившая каждое движение до автоматизма. Глухаря она водружает под мышку, и тот немедленно принимает позу «парадного индюка, которому сообщили о конце света» — хвост веером, клюв в небо, в глазах стеклянная мысль: «Куда вы меня тащите, безумцы? Я же птица гордая, хоть и мёртвая».

А вот и сам виновник транспортных бедствий. Вернее, его верхняя половина. Ноги, похоже, застряли и остались где-то между сиденьями в противоестественном положении, а голова, увенчанная помятой кепкой, безнадежно съехавшей набок с видом поникшего подсолнуха, лихо закинута назад. Он не идёт. Он медленно истекает из автобусных недр, как густой, тягучий сироп, направляемый лишь героическими усилиями Лили Васильевны. Она подпирает его всем корпусом, одной рукой удерживая саркофаг 1 и глухаря, другой отчаянно пытаясь придать вектор движения его абсолютно ватному телу. «Га-а-а-ври-и-ил! — шипит она сквозь стиснутые зубы, в которых, кажется, уже перемалывается карельский гранит. — Ноги! Ноги поставь! Земля есть? Чувствуешь подошвами?!» Гаврила Захарович мычит что-то невнятное про «сейфы», «долгой буржуев» и «зелёных человечков», его ноги совершают хаотичные маятниковые движения, но контакт с асфальтом носит скорее тактильный, ознакомительный характер, чем опорный. Глухарь смотрит на это своим стеклянным глазом и, кажется, думает с невыразимой тоской: «Ну и компания. Лучше бы меня моль съела ещё в цеху».

Маршрутка, облегчённо фыркнув, уезжает. Где-то под сиденьем всё ещё лежит недопитая бутылка «Абазинский розлив», а водила Володя Харьков позже клянётся в гараже, что видел, как Киркоров на календаре подмигнул ему и пробормотал хрипло: «Этот рейс, браток, — просто огонь!».

Дорога до вокзальных врат – это не прогулка, это эпический подвиг, достойный отдельной героической песни. Каждые три метра Лиля Васильевна вынуждена останавливаться, чтобы: а) перехватить выскальзывающий чемодан, грозящий вырваться из ослабевших пальцев и покатиться под колёса несущихся мимо автомобилей; б) встряхнуть Гаврилу, как мешок с мокрым песком, пытаясь вернуть его хотя бы в приблизительно вертикальную плоскость; в) метать молниеносные взгляды-кинжалы в зевак-прохожих, чьи лица расплываются в глупых, бестактных ухмылках; г) поправить глухаря, который при каждом рывке норовит выскользнуть то ли в поисках убежища, то ли оформить заключительный, самый эффектный полёт в своей загробной карьере. «Смешно, да?! – мысленно вопит она, и каждая клетка её тела кричит от унижения. – Подходи, помоги! Нет? Ага, бояться! И правильно делают!» Глухарь, мотающийся под мышкой, тоже, кажется, ёрничает — его клюв застыл в вечной полуухмылке, словно он отпускает скабрёзные шуточки насчёт всей этой процессии. Саркофаг 2 периодически с глухим стуком бьёт Гаврилу по лодыжкам, на что тот реагирует лишь глубоким, блаженным вздохом спящего тюленя, совершенно отрешённого от земных тягот.

И вот они, долгожданные врата железнодорожного рая под вывеской «Железнодорожный Вокзал г. Абакана». Прохлада, гул сотен голосов, специфический запах поездов, дезинфекции и... ряды блестящих, таких соблазнительных багажных тележек, выстроившихся, как солдаты на плацу. Лиля Васильевна замирает. Её взгляд, обычно полный усталой покорности судьбе, вдруг загорается искрой Прометея, украсившего огонь у богов. Или Архимеда, в экстазе кричавшего «Эврика!». Она пристально смотрит на тележки. Потом переводит взгляд на Гаврилу Захаровича, который в этот момент пытается неуклюже присесть на ближайший чемодан, но промахивается и мягко, как тряпичная кукла, сползает на колени, бормоча про «инопланетян и их коварную антигравитацию». Затем её взгляд на долю секунды встречается со стеклянными глазами глухаря, и в этой безмолвной пантомиме читается отчаянный вопрос: «Ну что, пернатый? И этого тоже грузить?» Глухарь молчит, но всем своим видом как бы отвечает: «А что, есть варианты?» Потом её взгляд снова, с нарастающей надеждой, возвращается к тележкам. Молниеносные расчёты, достойные лучших умов ХГУ, проносятся в её измученной голове: грузоподъёмность стальных конструкций, центр тяжести неустойчивого груза, диаметр колёс и их проходимость, вероятность встречи с бдительным, неумолимым работником вокзала.

«Вста-а-а-а-а-нь!» – гремит она над ухом Гаврилы с такой нечеловеческой силой и командной интонацией, что тот инстинктивно вскакивает... и тут же начинает заваливаться набок, словно подкошенный. Но Лиля Васильевна уже тут как тут. Ловким, отточенным годами упаковки непослушных перин и одеял в чехлы движением, она проворно подставляет тележку под его мягкое место. «Садись, Захарыч! – вещает она с деланной, почти театральной бодростью. – Экскурсия по перронам начинается!» Гаврила, смутно осознавая, что вертикаль – это хорошо, а горизонталь под ногами разгневанной жены – чревата катастрофой, покорно плюхается на холодную металлическую решётку. Тележка жалобно скрипит, проседает, но, к счастью, выдерживает. Лиля Васильевна торжествующе водружает один саркофаг к ногам мужа, другой – ему на колени, прижимая его к сиденью, как ремнём безопасности, сплетённым из нейлона, отчаяния и супружеского тщеславия. А затем, с особым, почти церемониальным тщанием, она устанавливает глухаря во главе тележки — словно ростру на носу боевого корабля. Чучело возвышается над всей композицией, напоминая то ли геральдическую фигуру, то ли навигационный прибор, сошедший с ума. Его дурацки-надменный профиль теперь будет рассекать вокзальный воздух, а стеклянный глаз — надзирать за порядком.

И поехали! Лиля Васильевна везёт свой бесценный, хрупкий груз по шумному перрону. Это зрелище, достойное цирковой арены! Гаврила Захарович важно восседает, как римский патриций на триумфальной колеснице, если бы патриций был изрядно пьян, в помятой панаме и с лицом, выражающим глубокую экзистенциальную пустоту и лёгкую тошноту. Чемодан на его коленях добавляет сюрреализма – кажется, он вот-вот произнесёт вещее пророчество или

громогласно захрапит. А впереди, гордо выпятив деревянную грудь, красуется глухарь — эдакий таксидермический талисман транспортного безумия, смотрящий на мир с выражением брезгливого превосходства: «Видали? Это всё моя свита!» А Лиля Васильевна? Она — локомотив, капитан дальнего плавания, шкипер и тяговая лошадь в одном, измученном, но не сломленном лице. Каждый толчок неповоротливой тележки — это волевое усилие, испытание на прочность. Колёса визжат на поворотах, Гаврила покачивается, как маятник Фуко в день землетрясения, глухарь кланяется публике с ритмичностью пьяного дирижёра, но конструкция, чудом, держится!

«Эй, гражданка! — раздаётся властный голос бдительного дежурного в форменной фуражке. — На тележках только багаж возят! Пассажиры — пешком!» Лиля Васильевна резко останавливается. Она медленно, с достоинством поворачивается. Её взгляд — это коктейль из ледяного спокойствия сибирской тайги и раскалённой лавы Везувия на грани извержения. Она театрально указывает пальцем сначала на чемодан у ног Гаврилы, потом на чемодан, придавивший ему колени, потом на чучело глухаря, что застыл истуканом с видом оскорблённого императора, и наконец — на самого Гаврилу Захаровича, который в этот момент мирно посапывает, уткнувшись лицом в ремешок саркофага.

«Молодой человек, — голос её звенит, как натянутая до предела струна, готовая лопнуть, — вы что, слепы? Видите БАГАЖ? (Чемодан 1). Видите БАГАЖ? (Чемодан 2). Видите САМЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ, ЦЕННЫЙ И ХРУПКИЙ БАГАЖ? Видите вот это недоразумение пернатое, которое тоже само не пойдёт?!» — пауза, уничтожающий взгляд на Гаврилу, глухарь возмущённо поблёскивает стеклянным глазом: «Позвольте! Я, между прочим, украшение интерьера, а не недоразумение!». «Или вы хотите, чтобы я его по дороге к поезду разбила вдребезги? И потом предъявляла претензии к вокзалу? А?»

Дежурный открывает рот, ошарашенно оглядывает ирреальную сцену: решительная, как бульдозер, женщина, два гигантских, явно перегруженных чемодана, возглавляемые не то индюком, не то коротким павлином с явным диагнозом «острая деревянная дурость» на лице, и... ну да, объект, внешне и функционально напоминающий очень крупный, неудобный и явно «хрупкий» груз, требующий бережной перевозки. Он что-то невнятно бормочет про «правила внутреннего распорядка», но под испепеляющим взглядом Лили Васильевны, который мог бы просверлить бетонную плиту, машет рукой в бессилии: «Да везите уже! Только аккуратнее, гражданка! И чтоб без происшествий!» Глухарь, кажется, подмигивает дежурному: не бойсь, служивый, прорвёмся.

Железнодорожный вокзал. Это не просто пункт отправления поездов. Это гигантская чаша Петри, где в режиме реального времени культивируются самые причудливые и невероятные формы человеческого бытия. И вот в этот храм транзитного безумия и вечного ожидания вкатили, точнее, вволокли Гаврилу Захаровича. Состояние его можно было описать двумя словами: «довольный и доведённый до вокзала». Не метафора, а в самом что ни на есть буквальном смысле — под руки, с мутным, ничего не видящим взором и шаткой уверенностью новорождённого оленёнка в собственной походке. Глухарь, которого Лиля временно пристроила на ближайший свободный стул, провожал эту процессию взглядом, полным философской меланхолии: «Ну вот, опять началось. А я тут сиди, как дурак, с этим выражением вечного удивления на лице». Лиля Васильевна, его законная половина и по совместительству главный буксир Гаврилы Захаровича, тащила его под мышки, вкладывая в этот процесс всю накопленную ярость двадцатилетнего брака и тихую, отчаянную мольбу к небесной канцелярии о внезапном, точечном обрушении потолка. Только не на неё, конечно. Исключительно на него.

Гаврила Захарович представлял собой зрелище, от которого отворачивались даже привычные ко всему вокзальные коты. Глаза — две мутные лужицы после проливного дождя, куда угодил любопытный кот и энергично взбаламутил всю тину и ил. Ноги двигались по сложной, непредсказуемой траектории, напоминающей попытку написать своё имя ногой на зеркальном

льду. Во время сильнейшего заноса. В целом, он напоминал очень дорогой, но безнадежно сломанный витринный манекен, которого везут на помойку, но по пути вдруг решили: «А вдруг ещё пригодится?».

И вот случилось чудо! Едва переступив порог этого царства специфических запахов – гремучая смесь дезинфекции, пота, пирожков сомнительной свежести и вечной, щемящей дорожной тоски – Гаврила Захарович дрогнул. Не нравственно, а чисто физиологически. Его веки, до этого словно приклеенные к глазным яблокам какой-то неведомой липкой субстанцией, медленно, с характерным хрустом старого дивана при смене позы, приподнялись. Взгляд, тусклый, как лампочка накаливания мощностью в жалкие 5 ватт, блуждал по высоким сводам зала. Наткнулся на глухаря. Замер. Гаврила громко крикнул, звук, напоминающий попытку запустить летающую тарелку после десяти лет простоя в болоте, и произнёс нечто среднее между «о-о!» и «надо взбодриться», что прозвучало как призыв к немедленным действиям. Глухарь в ответ уставился на него с таким выражением, будто хотел сказать: «Я тебя знаю? А, это ты — тот самый, который в прошлый раз пытался меня налить».

Лицо Лили Васильевны в этот миг выражало всю скорбь мира, предсказанную Нострадамусом для пятницы после выдачи зарплаты, она лишь испустила тихий, но невероятно глубокий вздох. Этот вздох обладал такой плотностью отчаяния, что мог бы заменить бетонную плиту при строительстве нового терминала.

«Га-а-аврила, – начала она голосом, в котором ледниковый период соседствовал с вулканической яростью на грани взрыва. – Ты. Сядешь. Вот на эту скамейку, а Я пойду за билетами. И будешь сидеть как вкопанный. Как живой памятник собственному бессилию и глупости. Рядом с нашим пернатым другом. Он хоть и дурак дураком, но зато не бегаёт.» Она сделала паузу, доставая из сумочки невидимый, но острый меч сарказма. «И, ах да...» – тут её рука совершила молниеносный выпад, достойный кота-Васьки, укравшего последнюю, драгоценную пельмешку со стола хозяина. Кошелёк Гаврилы, который он, едва придя в относительное сознание, инстинктивно прижал к груди, словно надеясь, что алкоголь просочится в кровь осмосом прямо через кожу, оказался в её цепких, неумолимых пальцах. «...финансовые потоки перекрыты. Во избежание недоразумения. Пьяного недоразумения у кафе «Встреча» или ларька с сувенирами.»

Гаврила Захарович изобразил на лице такую глубокую, искреннюю скорбь, будто у него на глазах раздавили не кошелёк, а его детскую мечту стать космонавтом или знаменитым артистом. «Ли-и-ленька! – взвыл он, драматично заламывая руки. – Да я же... эстет! Хочу красоту вокзала оценить! Архитектурные изыски! Эти... арочки величественные! Лепнина изысканная! Дух великих путешествий! Во отчую оценить задумку архитектора и используемый им стиль Романский, Готический или может быть Классицизм» Он театрально махнул рукой в сторону стены, украшенной шедеврами народного творчества: «Здесь был кАлЁсик», «РЖД-КОЗЕЛ» и обязательным «Не сорить! Штраф пятьсот тысяч миллионов рублей!». Глухарь, прислонённый к той же стене, казалось, внимал этому искусствоведческому пассажиру с глубочайшим скепсисом: «Ну-ну, Рёскин доморощенный, давай, расскажи ещё про готику».

Лиля Васильевна окинула его взглядом, которым смотрят на человека, убеждённо доказывающего, что лужа у выхода – это миниатюрная, но подлинная копия озера Байкал. «Красоту? – спросила она с убийственной, ледяной вежливостью. – Ты – единственная «достопримечательность» здесь, способная упасть лицом в урну и принять её за объятия Родины. Сиди. Не двигайся. Или я приклею тебя к скамейке жевательной резинкой, которой тут, слава богу, предостаточно. А глухарь пусть за тобой присматривает. Он в этом деле опытный — сам уже сколько лет приклеен к собственной подставке.» Она метнула в него последний, уничтожающий взгляд, способный испепелить на месте, и растворилась в густой толпе, направляясь к кассам, где очереди двигались со скоростью тектонических плит в период затишья.

Оставшись под присмотром двух бойких бабулек, обсуждавших, как цены растут быстрее, чем чужие дети, с интенсивностью биржевых трейдеров в час пик, всевидящего ока потрёпанной камеры наблюдения и стеклянного, немигающего взора глухаря (который, честно говоря, уже сам начал уставать от этой роли — быть единственным вменяемым предметом интерьера), Гаврила Захарович внезапно почувствовал прилив адреналина. Вернее, то, что он с радостью принял за адреналин, но было скорее остаточным брожением «старых дрожжей» в его организме. Его мозг, этот загадочный орган, большую часть времени находящийся в режиме энергосбережения, вдруг включил единственную активно работающую нейронную сеть: «Где взять выпить? Срочно!». Так началась секретная, но уже проверенная операция: «Миссия абасусь!».

Лиля Васильевна вернулась с билетами, похожими на билеты в один конец к окончательному безумию. Гаврила скорчил лицо, изображающее человека, которому мараапунизавр не просто наступил на мочевой пузырь, а устроил на нём пикник с прыжками и танцами. «Лиленька! Коллапс мочевой функции! SOS! Природа зовёт! Не могу терпеть! Сейчас случится... энурезный инцидент между вокзального масштаба!» Глухарь, услышав это, казалось, слегка отодвинулся по скамейке — насколько это возможно для чучела. Лиля, скрипя зубами так, что искры могли бы зажечь походный костёр, махнула рукой в сторону таблички «Туалет»: «Иди. Только быстро. И чтоб без «культурных» остановок по пути!». Гаврила рванул, как олимпийский чемпион на последнем издыхании, оставив за собой шлейф решимости. Глухарь проводил его долгим взглядом, в котором читалось: «Ну всё, теперь жди беды». Вернулся через 10 минут. Глаза его блестели подозрительно ярко, как у кота, нашедшего целую плантацию валерьянки. От него несло «ароматом», который можно было описать лишь как «медово-терпкий, с нюансами горчинки, пудровости и сладости — ярко выраженный триметиламин». «Воздух там! — рапортовал он, старательно дыша в противоположную сторону. — Свежий! Прямо как на Ергаках! Вентиляция — мечта санэпидемстанции! Настоящий курорт!»

Лиля Васильевна отвлеклась на попытку расшифровать таинственные, мигающие знаки на табло отправлений. Гаврила уловил момент. «Лилюш! Смотри! — он ткнул пальцем в мутное, заляпанное окно, отражавшее лишь потолок и ряды люминесцентных ламп. — Какая красота неземная! Прямо как в Красноярске на площади перед театром! Пойду полюбуюсь!» Лиля Васильевна поймала его за полу пальто с силой, способной остановить лёгкий танк на полном ходу. «Гаврила, — пробрюзжала она сквозь зубы. — За этим окном — ровно три квадратных метра грязного асфальта, разбитая бутылка и пьяный от местной экологии голубь, размышляющий о смысле жизни. Сиди. Не шевелись. Или я тебя привяжу к этой скамейке своим шерстяным шарфом и объявлю новым арт-объектом вокзала под названием «Вечный Покойник». Ты же эстет, должен оценить концепцию. В пару к этому дурацкому глухарю — будете диптихом.»

Казалось бы, тупик. Но Гаврила Захарович обладал уникальным, почти мистическим даром — радаром на единомышленников. Его внутренний сонар «Свой, бродячие ребята, обыватели, друзья» пищал с бешеной частотой, указывая направление. Пока Лиля Васильевна, в очередной раз рискуя остатками психического здоровья, пробивалась к киоску за минералкой, конечно, для «успокоения нервов» и тщетной попытки отрезвить мужа целебными гидрокарбонатами, он уловил мощный сигнал. Два таких же «ценителя вокзальной эстетики» стояли у ларька «Сувениры и Подарки», разглядывая ассортимент с видом знатоков. Ассортимент ларька был исчерпывающ и печален: магнитики «Я РЖД», ржавые значки с паровозиками и... святая святых — небольшой холодильник с пивом и слабоалкоголкой. Мужчины изучали содержимое холодильника с серьёзностью учёных, разглядывающих редкий артефакт в музее. Взгляды встретились. Мгновенное, почти телепатическое понимание сверкнуло в шести блестящих, оживлённых глазах. Без лишних слов, как заправские члены тайного братства — первые объединения вольных каменщиков возникли ещё при строительстве храма царя Соломона для защиты и взаимопомощи — они синхронно двинулись не просто в туалет, а в таинствен-

ный, потаённый закоулок за туалетом. Место, известное лишь избранным, где воняло ещё сильнее, зато не было назойливых глаз. Место для истинных адептов, стремящихся построить идеальное общество, основанное на принципах терпимости, справедливости и немедленного утоления жажды.

Лиля Васильевна вернулась с бутылкой воды, стоившей ей нервов, сравнимых с битвой за Сталинград, и... обнаружила зияющую пустоту. Там, где должен был сидеть Гаврила, валялась только смятая газета «Хакасия», горстка ореховой скорлупы и глухарь с возмущёнными стеклянными глазами, всем своим видом кричащий: «Ну а я что? Я его не держал! Он сам! У меня даже рук нет — вон, крылья примотаны!» Сердце Лили не упало — оно провалилось сквозь грязный вокзальный линолеум, пробило бетонную плиту и устремилось прямо к расплавленному ядру Земли, надеясь там сгореть и забыться. «Га-а-аврила?! ГАВРИИИИ ЗАХАРЫЧ!!!» — её вопль, полный предчувствия немедленного апокалипсиса, слился с дребезжащим, бесстрастным объявлением: «Скорый поезд РЖД 65/66 сообщением Абакан — Москва — Абакан Красноярской железной дороги задерживается на неопределённый срок. Приносим извинения за доставленные неудобства». Неудобства? Лиля Васильевна готова была лично найти того, кто придумал это жалкое слово, и утопить его в ближайшем вокзальном писсуаре.

Начались лихорадочные поиски пропавшего алкоголика в лабиринте вокзального безумия. Лиля Васильевна носилась по залам и коридорам, как античная фурия с бутылкой минералки вместо факела. Глухаря она прихватила с собой — исключительно чтобы не свистнули, а не как талисман, но тот под мышкой мотался с таким обречённым видом, будто участвовал в безумном кроссе без права на дембель. Она заглядывала в душный буфет, где запах жареных пирожков смешивался с запахом безысходности: «Га-а-н-я! Если ты сидишь тут за пятой порцией кваса, который явно крепче пива, я тебе...!». Она отчаянно штурмовала мужской туалет, вызывая переполох и возмущённые крики: «Мужики! Там чьята баба! Шмон!». Она всматривалась в лица спящих на скамейках личностей, чья степень опьянения делала Гаврилу Захаровича образцом трезвенника. Она даже подошла к вокзальному полицейскому, который с видом экскурсовода в музее скуки, лениво ковырял в зубах зубочисткой. «Пропал муж!» — выдохнула Лиля Васильевна, чувствуя, как земля уходит из-под ног. Глухарь в её руке дёрнулся и замер в позе «я свидетель, ничего не знаю». «Описание?» — лениво, по-канцелярски спросил страж порядка, не отрываясь от изучения своего ногтя. «Средних лет, выглядит как... ну, как сильно выпивший мужчина средних лет. В сером пальто. Или в коричневом? Не помню! Запах... специфический. Очень. А! Ещё с ним чучело нет. То есть чучело-то вот оно, — она потрясла глухарём, — а мужа нет». Полицейский вздохнул так, будто это была тысячная потерянная душа за его смену: «Гражданка, тут таких каждый час теряют и находят. Сядьте, подождёте. Или смотрите в багажное отделение, иногда там спят особо культурные отдыхающие. А чучело ваше... заберите, а то пугает личный состав».

А тем временем в Царстве Закоулка Соломонова царил настоящий пир духа и тела. Гаврила Захарович, подкрепив «старые дрожжи» многослойного коктейля из отваров, настоек и выдержек, свежей порцией «культурного обмена» в виде низкоценового Молдавского вина, купленного новообретёнными друзьями — Бормотухиным — человек-хрип, похожий на ворона, и Запойным — человек-квач, бесформенный и вечно мокрый — может их и не так звали, но Гаврила Захарович так запомнил, преобразился до неузнаваемости. Из полуживого мешка с костями он расцвёл, как ядовитая поганка после тропического ливня. Он стал Оракулом, придворным шутком, гением места и бесспорной душой компании. Его новые друзья, Бормотухин и Запойный, слушали его разинув рты, словно птенцы, ждущие очередной порции невообразимой кислицы от мудрой птицы-говорун. Кстати о птицах — где-то там, в большом зале, на скамейке скучал глухарь, и Гаврила, на секунду отвлёкшись от повествования, икнул

и пробормотал: «И этот... глухарь-то наш... тоже эстет. Но молчаливый. Потому что мёртвый. Но взгляд! Вы бы видели его взгляд!»

«Вот так, братцы, – вещал Гаврила Захарович, размахивая пластмассовым стаканчиком с вином, как скипетром короля Артура. – А я как дам этому медведю по морде мокрой тряпкой! Он – хлоп! И в стойку, как заправский гладиатор! Потом мы с ним, понимаешь, на «бру-дершафт» выпили! По-мужски! Он – малиновочки, я – смородиновочки!» Бормотухин кивал с глубоким пониманием медвежьей психологии и тонкостей алкогольного этикета тайги. «А пупок — это бывший рот...» – выдавал порционно информацию Гаврила Захарович. «А однажды, – продолжал он, понижая голос до конспиративного шёпота, от которого задрожали пустые бутылки под ногами, – я лично инструктировал самого Гагарина, как не блевать в невосомости! Секрет – в правильном угле наклона головы и ста граммах «Столичной» перед самым стартом! Не для слабаков, конечно! Сам Королёв потом лично благодарил!» Запойный проникновенно крикнул, явно представляя себя в белоснежном скафандре с потайной фляжкой у сердца.

Гаврила Захарович сыпал анекдотами так густо и неудержимо, что мог бы завалить ими всю Восточную Сибирь. Про Штирлица, который передавал шифровки, сдавая пустые бутылки из-под шнапса. Про Чапаева, чья знаменитая тачанка работала исключительно на чистом медицинском спирте. Про тещу, которая варила борщ такой невероятной крепости, что ложка в нём стояла колом, а соседи-ракетчики выпрашивали рецепт для заправки двигателей. Он пел застольные песни, фальшивя так оглушительно, что даже вечно сонный вокзальный кот, валявшийся на тёплой батарее, открыл один презрительный глаз и зашипел в его сторону. Он был Королём этого вонючего узилища, Властителем Тумана в собственной голове и героем новообретённых, пьяных сердец. Дрожжи старой закваски бурно реагировали на новое сусло, создавая внутри Гаврилы Захаровича давление, сравнимое с тем, что бушует в котле паровоза легендарной серии «ФД».

Но ничто не вечно под луной, особенно подобие трезвости после такой «взбучки». Энергия «новых дрожжей» начала стремительно иссякать, уступая место тяжёлой, липкой волне «старых». Глаза Гаврилы снова затянуло мутной, непроницаемой пеленой. Он бубнил что-то невнятное про «Лилюшку», «поезд», «Сваяка», «зелёных человечков» и «этого дурацкого глухаря, у которого взгляд, как у налогового инспектора». Бормотухин и Запойный, несмотря на собственную «эстетическую» увлечённость и изрядную степень подпитки, проявили неожиданную братскую солидарность и остатки инстинкта самосохранения, ведь допустить, чтобы их новый друг и источник безумных историй уснул здесь, среди крыс и вечного подтёка, было как-то не по-пацански, не по понятиям их содружества.

«Гаврила Захарович, – хрипло, но с усилием спросил Бормотухин, трясая Гаврилу за плечо, как мешок с промёрзшей картошкой. – Твой поезд... куда путь держит? Номер? И... когда он там, значит, отправляется?» Гаврила Захарович, борясь с накатывающей волной небытия, выдавил из себя нечто, отдалённо напоминающее номер поезда и направление. Этого хватило. Два «эстета», взвалив Гаврилу под мышки, — он благодарно обмяк, привычно превратившись в бесформенную тряпичную куклу с устойчивым запахом перегара, — двинулись в сторону перронов. Несли они его не столько как друга, сколько как ценный, но сильно битый и протекающий груз, требующий срочной доставки. Гаврила в процессе слегка подпевал себе под нос что-то про «дороги дальние, пыльные» и пытался помахать воображаемой публике, что каждый раз приводило к опасным кренам и проклятиям носильщиков.

Лиля Васильевна находилась у стойки информации в состоянии, близком к кататоническому ступору. Глухарь, пристроенный тут же на стойке, буравил пространство стеклянным взглядом, как следователь по особо важным делам. Она уже мысленно писала пространное заявление в милицию, продумывала текст объявления «Пропал муж. Очень нужен. Не очень. Примета: с ним должно быть чучело глухаря. А, нет, чучело у меня. Тогда просто муж», и

представляла, как будет объяснять многочисленной родне, что Гаврила Захарович сбежал в Забугорье с бродячими циркачами или инопланетянами. Её взгляд был устремлён в пустоту, а в руке бессмысленно сжималась бутылка минеральной воды, теперь тёплой, как слёзы крокодила на сковородке.

И вдруг... Она увидела приближающуюся странную группу. Первая мысль: «Носильщики несут чьи-то бесформенные чемоданы». Вторая мысль, ударившая током: «Боже правый, этот пьяный мешок... МОЙ!». На лице её отразилась целая палитра сменяющих друг друга чувств: Дикое, щемящее облегчение: жив! Не расплюсчен поездом! Не арестован за попытку продать вокзальные колонны как антиквариат инопланетянам! Ярость апокалипсиса: опять! До состояния «овощной культуры» высшего разряда! И с кем?! С этими... оборотнями в человеческом обличье? Глубокое, почти мистическое недоумение: кто эти люди? Почему они его несут? Что они с ним делали в закоулках? И почему у одного из них на шее болтается магнит «Я РЖД», как орден? Снова облегчение, но уже с горьким оттенком фатализма: успевают! Хотя и выглядит он как ходячее последнее предупреждение Минздрава о вреде пьянства. Глухарь, сидящий на стойке, казалось, выдохнул с облегчением — если бы мог, конечно: «Ну наконец-то. Я уж думал, он там новый вид алкогольной философии открывает».

Бормотухин и Запойный, тяжело дыша и обливаясь потом, — нести Гаврилу Захаровича было всё равно что тащить по глубокому снегу грузовой самолёт «Antonov An-225 «Mriya»» с непредсказуемым центром тяжести, — подтащили «груз» к Лиле Васильевне ровно к началу объявленной посадки на их поезд. Гаврила Захарович, уловив сквозь алкогольный туман знакомый, грозный силуэт и рядом — знакомый, не менее грозный силуэт глухаря, расплылся в пьяной, блаженной улыбке нашедшего потерянную авоську с полной бутылкой.

«Ли-и-люш! — торжественно, с придыханием, возвестил он, делая шаг вперёд и едва не выполняя сальто через собственную спутавшуюся ногу. — Я тебя нашёл! И глухаря нашёл! А я тут... красоту вокзальную смотрел! Архитектуру величественную! И друзей нашёл! Люди — золото! Настоящие эстеты, как я! Обменялись... культурными ценностями!»

Бормотухин и Запойный скромно крикнули, слегка пошатываясь на месте, как мачты в шторм. «Держитесь, гражданка, — произнёс Бормотухин, передавая Лиле Васильевне её мужа, как чемодан без ручки, но с явной течью и подозрительным запахом. — Ваш супруг... культурно отдыхал. Очень... содержательный собеседник. Рассказывал... про космос... про медведей гризли... и про то, что глухарь ваш — тайный масон». Запойный одобрительно кивнул, добавив хрипло: «Пацан реально в теме. Про тещу анекдот — просто огонь, обзавидоваться!». И протянул Лиле смятый магнит «Я РЖД». «На, гражданка. Сувенирчик. От нас. На долгую память.»

Лиля Васильевна, инстинктивно схватив Гаврилу за шиворот, чтобы он не уплыл по перрону вниз головой в поисках новых «архитектурных красот», а глухаря — под другую мышку, посмотрела на своих невольных «спасителей». В её глазах читалась бездна усталости, но и крошечная, нелепая искорка... немой благодарности? Они же не обобрали его до нитки, хотя кошелек-то давно у неё, не бросили в грязной луже, а притащили, как потерянный, но ценный багаж, куда надо. Пусть и в состоянии «горизонталь».

«Спасибо, — выдавила она, чувствуя, как это слово режет ей горло, как осколки битого стекла. — Большое... человеческое спасибо.» Она подумала добавить «идите к черту, пока целы», но сдержалась. Моральные силы были на исходе, а поезд ждать не будет.

«Не за что, — махнул рукой Бормотухин, уже оглядываясь в поисках новых приключений или просто свободной скамейки. — Бывай, Гаврила Захарович! И чучелу вашему... привет передавай! Скажи, мол, от Бормотухина и Запойного — респект!» Двое «эстетов» растворились в вокзальной толчее, вероятно, направляясь к следующей точке для «культурного обмена» или просто к уединённому углу, чтобы переварить услышанное про космос, медведей и тещин борщ.

Лиля Васильевна взглянула на Гаврилу. Он уже начал мягко сползать вниз, как медуза на солнце, тихо подключившись к сети «сон стоя». Он слегка похрапывал и улыбался каким-то своим, очень пьяным и, наверное, счастливым сном, где он летал с Гагариным вокруг Луны и бил медведей мокрой тряпкой по носу. Поезд, о чудо, стоял у перрона, готовый к отправлению. Она вздохнула, взвалив его руку себе на закалённые плечи с мастерством циркового силача, глухаря пристроила на чемодан, и потащила всю эту инсталляцию к вагону. Ярость куда-то ушла, оставив после себя пустыню усталости и привычную, горькую покорность судьбе. Мысли текли вяло: «Ну хоть до поезда донесу. А там... там он проспится. Или не проспится. Всю долгую дорогу. Главное, что едет. Со мной. И с этим идиотским глухарём. А не с теми... эстетами из закоулка.»

Лиля Васильевна, основываясь на блестящем опыте с вокзальной тележкой, снова толкает свою импровизированную колесницу – привокзальную тележку. Гаврила Захарович, подсакивая на стыках плит, начинает тихонько, фальшиво подпевать «Эх, дороги... Пыль да туман, холода, тревоги да степной бурьян...». Его голова качается в такт, а кепка вот-вот слетит в грязь. Глухарь во главе тележки тоже «подпевает» — его клюв, приоткрытый в вечном таксидермическом крике, сейчас выглядит так, будто он орёт благим матом на верхней ноте. Лиля Васильевна уже не злится. Она – победитель. Она только что обошла бюрократическую систему с помощью природной смекалки, железной наглости и ста двадцати килограммов супружеского «долга». Доехав до нужного вагона, она так же ловко выгружает Гаврилу, как мешок отборной картошки перед посадкой. Глухаря сгружает с чемодана с той же бережностью, но и с тем же раздражением: «Сиди, пернатый, не высывайся». «Вставай, родной, – говорит она с лёгкой, язвительной нежностью, поднимая мужа. – Приехали. А тележку... оставим следующим пассажирам.» Она бросает прощальный, почти благодарный взгляд на блестящую, скрипучую помощницу. Кто знает, сколько ещё пьяных Гаврил, отчаянных Лиль и дурацких чучел она вывезет сегодня? Ведь вокзальная история, как колесо, вечно повторяется. А Лиля Васильевна, взвалив на себя саркофаги, чучело глухаря — это громоздкое, нелепое, но уже почти родное недоразумение — и под руку с оживающим, но всё ещё шатким Гаврилой, устремляется к своему купе. Ей ещё предстоит закинуть его на верхнюю полку и придумать, куда деть птицу, чтобы та не сверлила её всю ночь своим стеклянным, осуждающим взглядом.

Когда поезд наконец тронулся, увозя этот уникальный супружеский «набор» — уставшую до предела, но несломленную жену, её вечно пьяную, вечно теряющуюся половину и чучело глухаря с видом утомлённого жизнью сюрреалиста, — Лиля Васильевна глядела в заляпанное мухами и пылью окно на медленно уплывающий вокзал. Мысли её приобрели привычный саркастичный оттенок: «Красота... – подумала она с горечью. – Какая красота? Настоящая красота – это когда твой муж, хоть и в стельку пьяный, но всё-таки сидит в поезде. Рядом. Не заснул на улице под забором. Не ввязался в драку из-за последней банки пива с местными гопниками. Просто спит. И не надо его искать по вонючим, крысиным закоулкам. По крайней мере, сегодня. И даже глухарь этот дурацкий на месте. Не потерялся. Сидит, смотрит своими стекляшками, молчит».

Она посмотрела на Гаврилу, который мирно посапывал, положив голову ей на плечо, и слюна его медленно впитывалась в ткань её старого, верного пальто. Глухарь, пристроенный на соседней полке, взирал на эту сцену с осуждающим выражением.

«Завтра... – продолжила она мысленно, глядя на мелькающие за окном огоньки. – Завтра будет новый день. Новые «дрожжи», которые он обязательно найдёт, даже если мы поедем в самую глухую пустыню Сахара. Новые «эстеты», которые с восторгом оценят его байки про покорение Эвереста на санках завода «Красная звезда». Новая вокзальная эпопея. И глухарь опять будет сидеть на чемодане с видом главного свидетеля обвинения.»

Лиля Васильевна с выражением лица, будто ей поручили сопровождать ядерную боеголовку в рабочем состоянии и с живым характером, а в придачу выдали таксидермический

талисман с IQ деревянной табуретки, — подумала, что надо было следить за Гаврилой Захаровичем повнимательнее, как за бурлящим котлом: вроде и варится сам по себе, но кто его знает — может и рвануть куда глаза глядят.

Она аккуратно поправила его сползающую, тяжёлую голову. «Ничего. Прорвёмся. Опять. Ибо так-себе альтернатива – искать мужа. А где я найду такого... уникального специалиста по медведям, космосу и тёщиным борщам?».

Глава 7. Пробуждение или где ночует дипломатический самогон

Поездная качка — штука коварная. Она баюкает не хуже старухи-няньки, которая знает тысячу и одну колыбельную и ни одной приличной. Вчерашний день ворвался в сознание Гаврила Захаровича стремительным десантом: там были и проводы, и сумки, и загадочное исчезновение одного из носков, и — самое главное — тот самый «наполнитель». Крепкий, домашний, настоящий. Вперемешку с нехитрой закуской из вчерашнего утра, он сработал лучше любого снотворного. Морфей, видимо, получил Гаврилу в свои владения с распиской: «Принято в бессознательно-блаженном состоянии от стука колес», а ангелочки на проплывающих мимо облаках дружно недоумевали: «Чего это уса́тый мужик так сладко сопит и булькает во сне? Не иначе, контрабанду во сне перегоняет».

Проснулся Гаврил Захарович не где-нибудь, а на верхней полке купе. И не просто проснулся, а обнаружил себя в условиях, достойных армейского смотра перед приездом самого министра обороны. Постель была застелена так идеально, что даже старый генерал, спавший по соседству с трофейной фляжкой, прослезился бы от умиления. Простыня натянута, как струна; одеяло — углом; простынь, судя по всему, кто-то ровнял пинцетом выправляя каждую складочку. В памяти тут же всплыла картина: Лиля Васильевна с уставшим лицом сапера, разминирующего бомбу, проводила тихую домашнюю спецоперацию под кодовым названием «Спящий красавец». Пока Гаврила путешествовал по стране грез и «наполнителю», она добыла у проводницы свежее белье, передела супруга, подняла на верхотуру с силой, которой позавидовал бы штангист, и заботливо поправила подушку.

Ровно в 6 утра, по заведенному внутреннему хронометру. Будильник в голове Гаврил Захаровича сработал точнее швейцарских часов, несмотря на внушительный «наполнитель», поскольку был выработан годами супружеской жизни, где проспять завтрак — значит, выслушать лекцию о пользе раннего подъема до самого обеда. Потолок купе слегка покачивался. Вчерашний день вспоминался сквозь сварочное стекло: отдельные лица, чьи-то тосты, пластиковая крышечка вместо рюмки... но главное — он на месте! В поезде. Значит, план «Поездка» выполняется. Главное — не задумываться, как именно выполняются пункты этого плана, особенно те, что связаны с личным участием Гаврил Захаровича в их реализации. Главное — вектор движения верный, а суть — неважна.

Первая мысль проснувшегося эстета — инвентаризация ценных активов. Не «Где я?» поезд, это понятно, не «Что со мной?» вроде все конечности на месте, даже те, о которых забываешь до первой мозоли, а жесткий контроль над самым ценным грузом. Нет, не чемодан с дипломатической миссией. Лиля Васильевна! Быстренько сверив курс — нижняя полка — Гаврила убедился: груз 1 цел, невредим и даже мирно посапывает. «Значит, доставил в нужное место в нужное время», — подумал Гаврил Захарович с законной гордостью. — «Она у меня хрупкая, в трех соснах заблудится может. А тут чужой незнакомый город, эти вокзалы, переходы, железнодорожные пути... Ох и устал я вчера, вот меня и вырубил, как младенца. Но ничего, ради родного человека все тяготы — в радость». Можно переходить к грузу 2, ради которого, собственно, и затевалась вся эта логистическая эпопея: легендарный чемодан. А в нем... носки! В носках, литров восемь «крепкого самопального добра», бережно укутанных в шерстяные носочки для маскировки и сохранности температурного режима. Транспортировка столь ценного вещества объяснялась благородной целью: дар Свояку. Ведь едут же к людям, культурным, а не на лесную гульбу какую! Надо соблюдать приличия. Дипломатическая миссия, можно сказать.

Удостоверившись в сохранности «дипломатического алкоголя», чемодан на месте, замок не взломан, поверх «добра» аккуратно подоткнуты майки и трусы для конспирации, Гаврил Захарович почувствовал легкое томление в области пищевода. Нет, не голод. Зов предков. Зов тех самых, кто строил Братскую ГЭС и пил за нее стоя. Отказать себе в небольшой апробации было бы не просто неразумно, а преступно по отношению к качеству. Тем более, когда представился такой грандиозный шанс: Лиля Васильевна еще спала, и бдительный контроль временно отсутствовал. Гаврил Захарович тихо, как мышь на пенсии, спустился с верхней полки, достал из чемодана заветную банку, предусмотрительно припрятанную под ворохом газет «Аргументы и факты», и сделал контрольный глоток. Жидкость пошла теплая, мягкая, с легким привкусом укропа и теплой радости. Жизнь налаживалась.

Но тут, словно почуяв неладное своим шестым чувством, которое работало безотказнее любого радара, заворочалась Лиля Васильевна. Она села на полке, поправила сбившиеся волосы, и взгляд ее — ясный, как утренняя заря над тайгой — уперся в Гаврилу. Тот замер с банкой в руке, застыв в позе «Орел, пьющий из горного источника».

— А это что у нас, Гаврил, с утра пораньше? — спросила она голосом, от которого у особо чувствительных граждан начинала икаться родословная до седьмого колена.

— Контроль качества, Васильевна, — не моргнув глазом, ответил Гаврил. — Перед дальней дорогой всегда надо проверить, не испортился ли продукт в пути. Жара, тряска...

— Шесть утра, — уточнила Лиля, глянув на часы. — И на улице плюс двенадцать.

— А в чемодане — плюс двадцать пять, — парировал Гаврил Захарович, который уже освоился с ролью подсудимого и перешел в контратаку. — Микробы, знаешь ли, тоже путешествовать любят. Я ж Свояка берегу! От некачественного суррогата.

Лиля Васильевна поджала губы. Она знала своего мужа. Он мог выкрутиться из любого положения, даже если его застать в стельку пьяным в бассейне с крокодилами. «Я их дрессировал, они меня слушаются!» — была бы его версия. Поэтому она решила действовать иначе. Не спрашивать, а досматривать. Тщательнее, чем на вывоз киви из Новой Зеландии.

Она спустилась, молча отодвинула Гаврилу, открыла чемодан и начала ревизию. Первой на свет появилась плотная банка, завернутая в многолетнюю газету «Правда».

— Это что? — ткнула она пальцем.

— Огурцы! Соленые. Домашние! — отбарабанил Гаврил Захарович, уже наготове. — С той самой грядки, где ты в прошлом году полола и нашла мою заначку. Думаешь, я забыл? Я помню! Память у меня, знаешь, как у слона. Только слон забывает обиды, а я — нет. Я все помню.

— А это? — Лиля извлекла литровую банку подозрительно темного цвета, обернутую в полотенце.

— Варенье! — ни секунды не колебался Гаврил. — Малина. С той самой поляны, где тебя в позапрошлом году клещ укусил... Я специально для Свояка! Витамина. Иммуитет поднимать.

— А запах откуда такой? — Лиля Васильевна принялась. — Пахнет не малиной.

— Так малина перебродила чуток с дороги, с кем не бывает? — Гаврил развел руками. — Органический процесс. Натуральный продукт, он живой. Дышит. Квасится.

Лиля Васильевна вздохнула. Про «варенье» она знала все. И про «огурцы» тоже. Но главная цель — дипломатический самогон в носках — каким-то чудом осталась незамеченной. То ли газеты так удачно легли, то ли сам Гаврил Захарович, пятась, создал отвлекающий маневр, но заветные бутылки остались в тени. Лиля Васильевна все же пропустила их. Или сделала вид, что не заметила. Гаврил Захарович знал: у нее нюх, как у трассировочной собаки, но выдержка — как у штатного психолога в Государственной Думе. Главное — не жевать чеснок в вагоне, не хрюкать и ни в коем случае не пытаться обсуждать политику с проводницей. Тогда, возможно,

поездка пройдет без летальных исходов и скандалов, которые потом будут передавать из уст в уста как сагу о «семейной паре из пятого вагона».

После завтрака, который прошел на удивление мирно, Лиля Васильевна и Гаврил Захарович, плотно умявшие по бутерброду с колбасой «МаВР» и запив все это горячим какао с молоком, услышали жалобное урчание. Оно доносилось не из-под пола, а из соседнего вагона. Целая рота солдат, возвращавшихся из учебки домой, томила без провианта, потому что сухой паек закончился еще вчера, а питание в поезде, как известно, стоит как крыло самолета, а пахнет как подошва сапога. Гаврил Захарович лишь намекнул супруге: «Васильевна, видать, нашим сухпаями придется делиться...» — явно недооценив стратегические запасы и оперативно-кулинарный гений своей второй половины.

Лиля Васильевна, будто фокусник из цирка «Дю Солей», которого накачали витаминами и кофеином, принялась извлекать из сумок, торб, авосек и потаенных карманов своего необъятного саквояжа немыслимые богатства. Из термоса, размером с детский сапожок, полилось еще горячее какао: «А как же, Гаврил, ты же знаешь, я всегда про запас чутка поболее беру! Не пропадать же добру!». Следом появилась скатерть-самобранка, она же старая клетчатая клеенка, которая мгновенно покрыла все свободные поверхности купе. Потом — как из рога изобилия — полетели вареные яйца, упакованные в чистые носки «чтоб не бились, Гаврил, а то у тебя руки — крюки!», горы бутербродов с маслом, сыром и той самой колбасой «МаВР». «Немножко отрезала от каждой палки, чтобы всем хватило!» — гордо пояснила Лиля. Соленые огурцы хрустнули из банки «Из-под кофе», помидоры, чуть помятые, но гордые, лежали в коробке «Из-под конфет «Мишка на севере». Вареная картошка в мундире, еще тепленькая, была аккуратно завернута в фольгу «Еще с вечера сварила, знала, что пригодится!», связка редисок — «Как раз к огурчикам, для остроты!». Батон нарезной, свежий, ароматный, пропитал все купе запахом, который мог свести с ума любого голодного. И даже банка шпрот обнаружилась в самом дальнем углу сумки: «Ну, для солидности, Гаврил! Не с одними же яйцами людей встречать».

Гаврил Захарович только чесал затылок, наблюдая, как его скромный дорожный паек, а он-то думал, что они взяли только бутерброды! Превращается в пир на весь мир, вернее, на всю роту. Солдаты, которые сначала робко заглядывали в купе, а потом и вовсе остолбенели от вида этого внезапного гастрономического изобилия, принялись с энтузиазмом голодных богатырей опустошать «стол». Лиля Васильевна, красная от удовольствия и суеты, подкладывала каждому: «Кушайте, родненькие, на дорожку! Не стесняйтесь! Ой, да я еще пакетик с сухариками где-то припрятала... И печенье было... Ах, вот оно!». Гаврил Захарович, глядя на пустые, но довольные лица солдат, на свою раскрасневшуюся супругу и на опустевшие сумки, тихо бормотал:

— Лиль... а откуда шпроты?... Мы же вчера собирали только бутерброды и огурцы. Я сам складывал один чемодан, два пакета и чувство тревоги...

Но ответа он так и не получил. Лиля лишь загадочно улыбнулась и подложила ему самый большой кусок колбасы. Тайна сумки Лили Васильевны осталась величайшей загадкой логики и материализации еды из воздуха, авосек и, возможно, четвертого измерения.

Через полчаса, когда солдаты, набившие животы до состояния «кто лопнет, тот герой», разбрелись по своим полкам, а Лиля Васильевна достала вязание, новый свитер, размера явно на медведя, но она пояснила, что это «на вырост» — Свояк же за последние годы рос только вширь. Воспользовавшись моментом Гаврил Захарович, испарился. Растворился. Сделал ноги. Просто взял и пропал, пока жена отвлеклась на подсчет петель.

Он нашелся только через час в пятом купе от их собственного. Там, в тесной компании двух мужиков из Кемерово, Гаврил Захарович вспоминал, «как мы под Братском аквабалк строили, и как потом культурно отдыхали, и как потом опять строили, потому что первый раз — разведка была». Увидев супругу на пороге купе, он не смутился. Лишь утер усы и выдал:

— Васильевна! А я тут людям помогаю. У человека — консервы, а ножа нет. А у меня, — он торжественно достал из кармана перочинный ножик, — опыт! Многолетний. Я, знаешь, сколько консервов в своей жизни открыл? Миллион. Может, два. Я даже однажды открывал консервы без ножа — силой мысли. Но тогда я был моложе и глупее, а теперь я мудрый, поэтому пользуюсь инструментом.

На губах его блеснула довольная улыбка, а взгляд слегка косил, но исключительно в правильную сторону — на столик, где стояла начатая бутылка коньяка «Три звездочки» хотя звездочек было четыре, но одну съели мыши в магазине.

— Я, Лиль, вот думаю, — начал он, пока Лиля пыталась увести его за ухо. — Люди ведь как поезда. Кто-то идет по расписанию, аккуратно, без приключений. Кто-то всегда опаздывает, но весело. А кто-то вообще на запасном пути всю жизнь стоит и ржавеет. Счастливый, но ржавый.

— Ты по какой бутылке сейчас такие мысли выдаешь? По первой или по второй уже? — уточнила Лиля Васильевна с металлическими нотками в голосе.

— По нулевой, — честно признался Гаврил. — Вдохновение, Васильевна, это такая штука... оно от количества не зависит. Оно от качества. А тут мужики душевные попались, из Кемерово. У них там уголь — не простой, а с душой. Они мне рассказали, как они его добывают. Сплошной героизм. Я аж прослезился.

Мужики подтверждающе закивали, и один из них, с лицом человека, который видел и коррупцию, и обвал породы, добавил:

— Верно бает, дядь Гаврил. Он нам даже историю рассказал, как Менделееву самому таблицу подсказал. Во сне, правда. Менделееву — во сне, а Гаврил Захарович при этом стоял рядом и кашу мешал. И каша та была на всю тайгу известная. Даже в учебниках про нее писали, но потом вырезали, потому что рецепт засекретили.

Лиля Васильевна, понимая, что одним ухом мужа не вытащить, решила поменять тактику. Она не стала его выволакивать силой, а сказала:

— Ну хорошо, Гаврил. Рассказывай дальше. Но через полчаса — умыться и ко мне. У нас там белье менять будут. И смотри, чтобы от тебя пахло не углем, а мылом!

И ушла, величественно покачивая бедрами. Гаврил Захарович выдохнул. Первый раунд остался за ним.

Но не успел он выпить вторую или третью? Сбилсся со счета. В общем рюмку, как его потянуло на новые приключения. Он тихо попрощался с кемеровцами, пообещав прислать им по почте чертеж «вечного двигателя на угле» который он давно придумал, но все руки не доходили запатентовать, и двинулся дальше по вагону.

На этот раз он тихонько присоседился в купе, где ехал старый генерал в отставке. Гаврил зашел, сел на свободное место и... замер. Генерал не разговаривал. Он дышал, иногда похрюпывал и излучал такие мощные феромоны патриотизма, что даже стены купе начинали пахнуть нафталином и доблестью. Под подушкой у генерала обнаружилась пыльная книжка с заголовком: «Боевые действия на Чусовой в 1943-45 годах» и записная книжка с пометками, сделанными дрожащей рукой: «Водка — 100 000 р.», «Жена — 700 000 р. (не продавать. Долг)», «Не забыть свитер, а то опять простыну».

Гаврил Захарович уважал генерала молча. Он налил себе стопку из личных запасов генерала, предусмотрительно взятых в дорогу в плоской фляжке, откусил патристический огурец и проникся. Генерал — это, знаешь ли, всегда человек с историей. Даже если он её не рассказывает. Даже если он храпит. В этом храпе слышались залпы «Катюш», марши и чей-то крик: «За Родину! За Сталина!». Или, может, Гавриле просто показалось после пятой стопки.

Вдруг генерал открыл один глаз.

— Ты, — сказал он хрипло. — Тот самый, который таблицу Менделееву в соседнем купе подсказывал?

— Ну, — скромно потупился Гаврил. — Не то, чтобы подсказывал... Я просто намекнул. Дмитрий Иванович, говорю, а давайте мы элементы по порядку расположим, а то у вас в кабинете бардак. А он уже сам додумал. Талант!

— А Эйнштейна знал? — спросил генерал, приподнимаясь на локте.

— Альберта? — Гаврил оживился. — Это мы в позапрошлом году на конференции пересеклись. Он мне говорит: «Гаврил Захарович, у вас такая голова! Вы бы думали, а я бы писал. А то мне одному скучно». Я ему: «Альберт, пиши свою теорию относительности, не отвлекай меня от важных дел. У меня тут самогон созревает». Он обиделся немного, но потом прислал открытку. Из Парижа, кажется. Или из Праги. Я её куда-то засунул, в книгу «В помощь домашнему виноделу».

Генерал хмыкнул и достал из-под подушки еще одну фляжку.

— Угощайся, — сказал он. — За знакомство с великими умами.

Гаврил не заставил себя упрашивать. Они чокнулись фляжками, выпили и ещё долго молчали, уважая друг друга. Потом Генерал опять захрапел, а Гаврил, чувствуя, что его начинает слегка покачивать, поезд, однако, был ни при чем, отправился дальше.

Следующей остановкой стала семья Ткачёвых, ехавшая в Краснодар из Ачинска. Их целью было «посмотреть, как там всё устроено, и, возможно, остаться насовсем, если не выгонят».

— В Краснодаре, говорят, тепло, — мечтательно объяснял глава семейства, мужик с ладонями-лопатами и добрыми глазами. — А у нас как? Только посадишь огурцы в мае — бах! — и снег. И не успеешь оглянуться, а уже Новый год.

— Летом снег? — переспросил Гаврил Захарович, искренне удивляясь климатическим аномалиям соседнего региона.

— Ну не снег, а Новый год, — поправился мужик. — Он к нам быстрее приходит, чем в Краснодар. У нас и зима длинная, и лето короткое, а весна — это просто осень, которая не поняла, что пора уходить.

Гаврил Захарович, проникнувшись глубиной этой географической особенности, немедленно достал недопитую фляжку генерала. Ткачёвы в ответ выставили домашнюю колбасу, пахнущую чесноком, перцем и той самой тоской по несбывшемуся урожаю. Они выпили, обменялись адресами, и Гаврил торжественно пообещал зайти в гости, если «меня не заберут раньше в Научно-исследовательский институт мозга Академии медицинских наук для изучения моих паранормальных способностей. Потому что, — таинственно понизил он голос, — Кашпировский и Чумак, между прочим, у меня учились. Я им так, по-дружески, пару приемов подсказал: как гипнотизировать банку с огурцами и как заряжать воду через телевизор, не вставая с дивана. Они потом сами всё развили, а я скромно остался в тени. Не люблю публичности».

Ткачёвы смотрели на него с уважением, граничащим с испугом. Особенно когда Гаврил добавил, что может зарядить любую жидкость просто взглядом, но сегодня не будет, потому что устал с дороги.

Поезд тем временем стучал колесами, и этот стук казался Гавриле веселой дробью, отбивающей ритм в его голове. Стук-стук, буль-буль, стук-стук — «ты в дороге, и ты не один... ты с собой, а это уже много, но на многих своих запасов, к сожалению, не хватит, если не нормировать».

В купе номер восемь его ждала новая встреча: бабка с корзиной яиц и огромной бутылкой мутной жидкости, которую она называла «для растираний». Гаврил, конечно, не мог пройти мимо.

— Вам, уважаемая, жидкость для растираний не нужна? — галантно поинтересовался он, похлопав себя по карману, где булькала фляжка. — Моя, натуральная, на травах. Можно внутрь, можно наружу. И то, и другое одинаково полезно.

— Не нужно, милок, — ответила бабка цепким взглядом. — У меня свой полно. Аж три литра. Для радикулита заготовила.

Через десять минут они уже чокались пластиковыми крышечками, бабка уступила — не пропадать же добру и пили за здоровье птицы, которая эти яйца снесла, и за стабильность белка в каждом яйце в отдельности.

— Курица — это ведь, по сути, женщина в перьях! — философски изрек Гаврил после третьего тоста. — Тоже хочет есть, пить, и чтобы её уважали.

Бабка крикнула, хлебнула самодельного «растирания» и покачала головой:

— Ты, сынок, с такими сравнениями — давай не... Прошу вас придерживаться фактов. Ваше утверждение действительности не соответствует — только одним словом. У меня, знаешь ли, внук — кандидат наук по птицеводству. Он тебе такое про куриц расскажет — мама не горюй. Одна надежда: без ста граммов не разобраться. Но мы, кажется, уже разобрались? — она оценивающе глянула на почти пустую фляжку Гаврилы.

— Так точно, — отрапортовал Гаврил. — Разобрались и протрезвели. До следующей остановки.

Бабка подумала и выудила из своей корзины помимо яиц еще и бутерброд с салом. «Пей и катись дальше, путешественник», — сказала она, укладывая это все кратко, емко и в одно слово. Гаврил покатился.

Следом было купе номер шесть, где ехали шахтеры. Они занимали две нижние полки и все пространство столика. В центре стола возвышалась пятилитровая канистра с жидкостью янтарного цвета. От нее пахло так, что у Гаврилы заслезились глаза на расстоянии двух метров. Не от горечи — от уважения.

— Присаживайся, проходимец, — сказал главный шахтер, мужик с лицом, изрезанным угольной пылью и жизненным опытом. — Слышали, ты великих людей учил. Может, и нас чему научишь? Как под землей самогон гнать, чтобы начальство не спалило?

— Легко, — сел Гаврил, чувствуя, что вот оно — его звездный час. — Но сначала — информация к размышлению. Ваша канистра откуда? У дальней тещи взяли?

— Точно, — удивились шахтеры. — А ты откуда знаешь? Колдун?

— Не колдун, — скромно улыбнулся Гаврил. — Практик. У тещи всегда самогон, который она «настаивает для компрессов». И если он пропадает, то пропадает тихо, ночью, и без свидетелей. И мы у нее не крали, — он поднял указательный палец, — мы родню поддержали. Чтобы не застаивалось хорошее дело. Чтобы циркуляция в масштабах семьи.

Шахтеры грохнули смехом и налили Гавриле полную кружку. Гаврил выпил, крикнул и рассказал им историю о том, как помогал Циолковскому рассчитывать траекторию ракеты, сидя на заборе и жуя подсолнечные семечки. «Константин Эдуардович, говорю, а вы не думали, что ракета — это как бутылка с газировкой? Откроешь — и полетела. Только там вместо газа — керосин, и пробку не закрутишь обратно». Циолковский, по словам Гаврилы, тогда аж прослезился и записал все в тетрадку. А потом полетели. Не сразу, конечно. Гаврил не спорил с людьми, у которых кулак шире его головы, а с шахтерами спорить не хотелось — их кулаки были шире всей его тушки целиком. Тем более под такой замечательный самогон.

Каждые сорок минут, как по расписанию, Гаврил Захарович заглядывал в свое купе — «в гнездо», как он его называл. Проверял, на месте ли Лиля Васильевна. Она была на месте. Но садиться рядом не спешил. Он заглядывал, радостно докладывал: «Васильевна, я здесь! Я просто культурно знакомлюсь с пассажирами. Расширяю кругозор. И тебе потом расскажу, какие люди ездят! Есть даже один генерал. Очень патриотичный. И бабка с яйцами — у нее внук — кандидат наук по птицеводству! Представляешь?». И исчезал, пока Лиля не успела схватить его за воротник.

Лиля Васильевна периодически металась по вагону с лицом организатора панихиды, который забыл, где закопал покойника. Она проверяла каждый угол, заглядывала под каждую

полку, спрашивала у проводницы та лишь разводила руками — Гаврил был неуловим, заглядывала даже в туалеты и однажды случайно открыла дверь в тамбур, где какой-то гражданин мирно спал, обняв ведро. «Это не мой», — вздохнула Лиля и пошла дальше. Она пыталась вспомнить, зачем вообще двадцать лет назад вышла замуж за этого... этого... «энциклопедию на спирту», как она его про себя называла. Они с Гаврил Захаровичем разминулись в коридоре, как два сосуда: она — с кипящей яростью, он — с булькающим энтузиазмом, и ни один не уступил дорогу.

В купе номер десять, куда Гаврил заглянул «на огонек», угощали ликером «Вишня на коньяке», купленным с рук у бойкой бабушки прямо на перроне перед отправлением. Ликер был сладким, как жизнь после премии, и тягучим, как решение собрать вещи в отпуск.

— За веру, надежду, любовь! — провозгласил тост жизнерадостный попутчик с усами а-ля Будённый.

— За Васильевну! — немедленно подхватил Гаврил, потому что это было безопасно и всегда уместно, даже если она этого не слышит.

— А кто такая Васильевна? — поинтересовалась дама в цветастом платке.

— Моя боевая подруга, — с гордостью ответил Гаврил. — Она у меня, знаете, как таран. Прямая, сильная и если бьет, то наверняка. Но зато, — он добавил шёпотом, — с ней не пропадешь. И шпроты у нее волшебные — из воздуха появляются. Я до сих пор не понимаю, как. Наверное, кандидатскую по логистике защитила, а мне не сказала.

В купе номер двенадцать мужик по кличке Плотник, хотя плотником он не был, он был токарем, но кличка прилипла еще в армии из-за привычки плотно завтракать, рассказывал про баню, в которой можно было гнать самогон просто из воздуха.

— Пар, — вещал Плотник, — как слеза из рюмки. Только что он был на потолке, а через минуту — уже в тебе. Так и самогон. Молекулы, они везде. Главное — уметь их уловить. И холодильник из снега с крыши соорудить.

— Давайте проверим вашу теорию, — немедленно откликнулся Гаврил Захарович и принял участие в проверке дважды. И даже трижды, но третий раз они делали вид, что проверяют систему охлаждения снежком из холодильника, который Плотник принес в шапке с вагон-ресторана.

Их бурное научное заседание прервал мужик из соседнего вагона, который влетел без стука с дикими глазами:

— Нет ли у кого коньяка? Человеку плохо!

Плотник, недолго думая, вложил в руки мужика початую бутылку коньяка, которую берег для особого тоста. Мужик тут же откупорил ее, запрокинул голову и — жадными глотками — ополовинил.

— Эй! — возмутился Плотник. — Это же для сердечника! Капли!

— Что-что? Какого еще сердечника? — мужик вытер губы и икнул. — Это вы, может быть, железные люди, а мне всегда не по себе, когда вижу без меня пьющих. А коньяк — он полезный. Он, — мужик подумал и вернул пустую бутылку, — он как завод в СССР: плохого не делает, а от хорошего всё равно не убережешь.

Гаврил восхищенно покачал головой. Такой логике позавидовал бы сам Сократ, если бы Сократ пил коньяк. Но Сократ пил цикуту, поэтому его логика была другой. Менее оптимистичной.

В какой-то момент, когда поезд особенно сильно качнуло на стрелке, Гаврил Захарович понял, что его вестибулярный аппарат подал заявление об увольнении. Ему срочно понадобился свежий воздух. Он пошел в тамбур. Открыл окно. Подышал. Потом присел на корточки, потому что ноги вдруг стали ватными — скорее всего, от усталости. А потом... отключился. То есть не просто уснул. Он сложился, как дорожный шезлонг, прямо у стенки тамбура, в обнимку с какой-то чужой хозяйственной сумкой, в ней, к счастью, оказались сушки и пара бутылок

пива — подарок судьбы. Проводник случайно обнаружил его по запаху — смесь коньяка, ликера, шахтерского самогона и «растирания» — и по ровному, умиротворенному вздоху.

— Это шестой сегодня, — устало сказал проводник в рацию. — Похож на профессора. В усах — огурец. Да, наверное, тот самый, про которого жена уже третий круг поисков наматывает.

Пассажиры, шедшие в туалет, осторожно перешагивали через Гаврилу, как через открытый колодец с характером. Один даже придержал дверь, чтобы та не прищемила спящему гению руки.

Лиля Васильевна нашла его после четвертого круга поисков, когда обошла уже все купе, включая багажное, и начала подозревать, что муж материализовался в другом измерении, чтобы продолжить банкет там. Она прошла в тамбур, увидела это живописное тело, лежащее в позе «зародыш с чувством собственного достоинства», и замерла. С лицом каменным, как перрон в Омске в феврале, и с дыханием тяжелым, как его чемодан, полный «дипломатического алкоголя», она склонилась над супругом.

— Ну и кто тут у нас снова «просто пошёл воды попить»? — спросила она риторически.

Гаврил, не открывая глаз, вздрогнул всем телом и что-то промычал про «голубой вагон, бегущий вдаль», и чтобы «кто-то завязал с содой».

С ловкостью, которой позавидовал бы Иван Сергеевич Ярыгин — двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе, чемпион мира и Европы — Лиля Васильевна подхватила мужа под мышки. Обхватила, крякнула, подняла. Гаврил был не из легких — в нем было много правды, много юмора и литров пять «дипломатического добра», часть из которых, впрочем, уже перекочевала в мочевой пузырь. Она протащила его через весь вагон, не обращая внимания на любопытные взгляды, сгрузила у своей полки и — методично, сноровисто, без лишних движений — водрузила на верхнюю полку. Поправила одеяло. Подоткнула простыню. Заботливо повернула голову набок, чтобы не захлебнулся слюной или внезапным откровением. И только потом села на свою полку, вытащила спицы и начала вязать.

Она вязала горло для нового свитера. Серого, плотного, такого же непробиваемого, как ее характер. Спицы стучали в такт колесам.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.